

МАРК СЛОНИМ

Три любви
Достоевского



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью - Йорк

МАРК СЛОНИМ

Три любви Достоевского



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

•

1953

COPYRIGHT 1953 BY
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

THE THREE LOVES OF DOSTOYEVSKY

by

MARC SLONIM

PRINTED IN THE U.S.A.

Посвящаю моей жене

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Во время моей трехлетней работы над этой книгой я не ставил себе задачи написать биографию Достоевского или критическое исследование о связи между истинными происшествиями его жизни и его произведениями. Цель моя была гораздо более ограниченной: проследить историю отношений великого писателя к женщинам и рассказать об его увлечениях и двух браках с возможной полнотой, без стыдливых умолчаний и обычного «прихорашивания» действительности.

Интерес к эротизму Достоевского и подробностям его любовных драм, удач и поражений возникает не из праздного любопытства или игры нездорового воображения. В своих романах и повестях он так взволнованно говорил о тайнах, провалах и безумиях пола, так настойчиво выводил сластолюбцев, растлителей и развратников, начиная от Свидригайлова и Ставрогина и кончая отцом Карамазовым, так проникновенно рисовал «инфернальных» и грешных женщин, что совершенно естественно задать вопрос: откуда пришло к нему это исключительное знание тяжелой, порою чудовищной эротики его распаленных героев и героинь? Создал ли он весь этот мир страстей и сладострастия, преступлений и возмездия, взлетов духа и беснования плоти только из наблюдений над другими или же из собственного опыта, — потому что в нем самом бушевали чувственные бури и его существование было полно телесных соблазнов и порывов? Кого и как любил он в

молодости и в годы зрелости, и каким был он — Достоевский муж и любовник?

Рассказать об этом нелегко: и самая тема «опасна» (когда называешь вещи своими именами, слова становятся тяжелыми или грубыми), и трудно соблюсти меру, если речь идет о такой гениальной и больной индивидуальности как Достоевский: он сам ни в чем не знал пределов, и биографу постоянно приходится следовать за ним в душное подполье патологии. Многие черты его характера и события его жизни продолжают оставаться загадочными, необъяснимыми. О нем ходило множество легенд, сплетен и ужасных предположений, порою распространявшихся близкими ему людьми. Подлинную правду о его первом и втором браке или о связи с Сусловой знали только немногие друзья, а после его смерти — узкий круг специалистов и несколько представителей минувшего поколения: до широкой публики доходили одни глухие намеки.

Два обстоятельства чуть ли не полвека поддерживали это положение. Мы знаем интимнейшие подробности о жизни Толстого, — самого объективного, эпического русского писателя, и всё творчество его, от «Детства и отрочества» до «Воскресения» — одна огромная исповедь. А Достоевский, художник глубоко субъективный, превращавший свои романы в захлебывающийся патетический монолог, потаенные стороны своего существования отразил в них неполно, косвенно и неохотно, и не оставил почти никаких автобиографических произведений. Он вообще был очень сдержан и немногословен, когда дело касалось его личных, особенно любовных чувств, и, за редкими исключениями, избегал признаний даже в письмах к любимым. Кроме того, Анна Григорьевна, вторая жена Достоевского, ревниво вытравляла при помощи густых полос чернил все те места в его переписке и заметках, которые казались ей нежелательными или

чересчур откровенными. Цензура ее одинаково распространялась на прошлое и настоящее: она, например, тщательно вычеркивала и всякое доброе упоминание о первой жене писателя, и его слишком пылкие уверения в любви, обращенные в старости к ней самой. Биографы последовали за ней по этому пути создания иконописного лика Достоевского и умышленно замалчивали всё, что могло бы его затемнить. Только через сорок лет после смерти Достоевского началось опубликование неприкрашенных биографических материалов (часть их всё же не миновала контроля Анны Григорьевны). В 20-ых и 30-ых годах были выпущены три тома его писем (четвертый том, обещанный в 1934 г., так и не появился в свет в Советском Союзе — по причинам, понятным всякому, кто знаком с отношением коммунистической власти к автору «Бесов»); были также изданы варианты, планы и записи Достоевского к главным его произведениям, воспоминания и дневники близких ему женщин, свидетельства современников и ряд иных документов. Таким образом в распоряжении исследователя оказались данные, позволяющие судить о роли пола и любви в жизни Достоевского. То, что раскрывается в этой до сих пор запретной области, бросает яркий и порою странный свет на его личность и творчество.

Я не желал отягощать текста подстрочными примечаниями, но все имеющиеся в книге фактические описания, вплоть до мелочей, могут быть подтверждены цитатами из многочисленных источников, указанных в Библиографии. Конечно, многое в сердечных и физических привязанностях Достоевского либо совсем неизвестно, либо вызывает вопросы и сомнения. Кое о чем можно только догадываться, — и я считал себя вправе высказывать догадки и делать предположения: работа моя заключалась не только в том, чтобы представить факты и события, но и объяснить их в свете

критического понимания. Я стремился быть не летописцем, а рассказчиком и толкователем. Естественно, что читатель может принять или отвергнуть эти толкования; ему следует, однако, помнить, что в угоду интерпретации нигде не была опущена ни одна деталь или принесена в жертву достоверность изложения. Некоторые страницы предлагаемой книги могут показаться неправдоподобными или маловероятными: вина за это лежит не на авторе, повсюду избегавшем преувеличений. Но ведь Достоевский был гораздо сложнее, чем любой из его героев: гениальный эпилептик, человек с «содранной кожей», прошедший через страшные испытания смерти, каторги, нужды и одиночества, патологический любовник и мятущийся искатель святости, он прожил неповторяемую, фантастическую жизнь. Что же удивительного, если и повесть о его любви и страстях полна неожиданностей и противоречий и порою напоминает жгучие и мучительные главы его романов?

Бронксвил, Нью Йорк.

Часть первая

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ранним утром 22 декабря 1849 года шестнадцатилетний лицеист барон Александр Врангель выглянул в окно и в сумрачном свете петербургской зимы увидел вереницу двуконных возков-карет. В таких возках обычно ездили воспитанницы Смольного Института благородных девиц или балетные ученицы Императорского Театрального Училища. В это утро, однако, вместо молоденьких девушек, в возках находились государственные преступники: на казнь везли двадцать человек кружка Буташевича-Петрашевского. Их арест в начале 1849 года произвел большое впечатление в столичном обществе. Передавали, что тайная полиция открыла заговор против самодержавия, что в кружке проповедовали социализм, политические свободы, освобождение крестьян и прочие возмутительные бредни. И глава крамольников, Петрашевский, и его друзья — Н. Спешнев, Н. Кашкин, Ал. Европеус — окончили тот самый Александровский лицей, в котором учился Врангель, — и поэтому жандармы произвели обыск в лицейских классах в поисках запрещенной литературы. Врангель, естественно, заинтересовался делом Петрашевцев, как их называли, хотя говорить о них можно было лишь в интимном кругу, да и то понизив голос: шел слух, что император Николай Первый сильно разгневан и велел примерно наказать участников общества. Близкий родственник Врангеля, Карл Егорович Мандерштерн, впоследствии комендант Петропавловской кре-

пости, был аудитором военного суда, и от него юный лицеист, отпущенный домой на Рождественские каникулы, узнал, что ряд петрашевцев приговорен к расстрелу. Среди них был Ф. М. Достоевский. Совсем недавно Врангель прочитал роман «Бедные Люди», положивший начало известности Достоевского, и неоконченную повесть «Неточка Незванова». Оба произвели на него сильное впечатление, и он очень огорчился, услышав, что смерть ждет любимого писателя.

В то памятное утро 22 декабря дядя Врангеля, офицер конно-гренадерского полка, должен был присутствовать со своей ротой на казни петрашевцев. Он согласился взять племянника с собой.

Когда они приехали на Семеновский плац, где была назначена экзекуция, площадь была оцеплена войсками. Позади черных рядов солдатского карре толпился случайный народ — мужики, бабы-торговки, простые люди в зипунах и чуйках. «Чистой публики» почти не было. К Врангелю подбежал другой его родственник, тоже офицер, бывший в наряде, и начал упрощивать юношу немедленно покинуть место казни, а то — неровен час — и слишком любопытного лицеиста заподозрят в преступном сочувствии к осужденным.

Врангель несколько струсил и обещал поехать домой, но на самом деле не ушел, а затерялся в толпе: этот его смелый поступок остался тайной и он никому не осмелился в нем признаться.

Поднявшись на цыпочки и вытягивая голову, он увидал посредине площади деревянный эшафот со ступенями и врытые в землю столбы. С осужденных сняли верхнее платье, и они стояли на двадцати градусном морозе в одних рубашках: девять человек с одной и одиннадцать с другой стороны эшафота. Аудитор прочитал приговор. Врангель услышал: «Достоевский Федор Михайлович... за участие в преступных замыслах

и распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии, лишен всех прав состояний... к смертной казни расстрелянием». Священник с крестом сменил на эшафоте аудитора и предложил исповедываться. Только один из осужденных пошел к исповеди. Остальные приложились к серебряному кресту, который священник быстро и молча подставлял к губам. Затем на Петрашевского, Момбелли и Григорьева надели саваны; этих трех, с повязкой на глазах, привязали к столбам. Достоевский стоял в следующей группе, ожидая своей очереди. Взвод с офицером во главе выстроился перед столбами, солдаты вскинули ружья и взяли на прицел. Но в тот самый момент, когда должна была раздаться команда «пли!», один из высших военных чинов взмахнул белым платком, казнь была остановлена, и осужденных отвязали от столбов. Григорьев шатался: он сошел с ума за эти несколько минут ожидания конца. У Момбелли внезапно поседели волосы. Был объявлен новый приговор — монаршая милость. Достоевскому назначалась каторга на четыре года и потом служба рядовым в Сибири, тоже на четыре года. Преступникам разрешили надеть верхнее платье. Не дожидаясь, покамест их отвезут в Петропавловскую крепость, Врангель украдкой выбрался из толпы и, дрожа от волнения и жалости, поспешил домой.

Спустя четыре года, после окончания лицея и непродолжительной службы в министерстве юстиции, Врангель по собственной просьбе был назначен прокурором в только что учрежденную Семипалатинскую область, составленную из юго-восточных районов Киргизских степей и юго-западных Алтайского округа. Сибирь тогда была мало исследована, а Врангеля тяну-

ло в дальние страны: гораздо больше, чем юриспруденция, интересовали его путешествия и охота.

Когда прошел слух в Петербурге об его отъезде, ему снова пришлось услышать имя Достоевского: бывший петрашевец только что отбыл срок на каторге в Омске и в марте 1854 года был зачислен рядовым в 7-ой Сибирский Линейный батальон, находившийся в Семипалатинске — месте службы Врангеля. Брат Федора Достоевского, Михаил, попросил новоиспеченного чиновника отвезти ссыльному письмо и деньги, и молодой прокурор охотно взялся исполнить поручение.

В ноябре 1854 года Врангель, наконец, добрался до Семипалатинска и, едва устроившись на квартире у местного купца Степанова, вызвал к себе Достоевского: ему казалось, что он знает его с давних пор, и он с нетерпением ожидал встречи с бывшим писателем, бывшим каторжником, а ныне рядовым. Когда Достоевский вошел в комнату, он впился в него глазами. Перед ним стоял коренастый среднего роста солдат в мешковатой грубого сукна форме. Во всем его обличи, фигуре и одежде было что-то простонародное, а отнюдь не дворянское или интеллигентское. И лицо Достоевского было такое же, какое часто встречается на Руси у ремесленников, мещан и богобоязненных купцов: жесткая темнорусая борода лопатой; тонкий и упрямый рот под густыми усами, над широким лбом с выпуклыми надбровными дугами, светлые волосы, стриженные коротко, под машинку; глубоко сидящие, точно провалившиеся глаза и под ними синеватые круги; цвет лица нездоровый, бледно землистый, с веснушками, кожа щек и лба изрыта морщинами. Голос у него был глухой, с хрипотцой, — след отроческой горловой болезни — и говорил он тихо, медленно, точно неохотно, скупыми простыми словами, но когда воодушевлялся, речь его становилась звучной и быстрой, в словах звенела страсть, он почти захлебывался, движения его,

несмотря на порывистость, даже резкость, приобретали живость и легкость, — он преображался, и от прежней хмурости не оставалось и следа.

Слезы выступили на глазах у Достоевского, когда он начал читать письмо от брата. В это время Врангелю принесли почту из России, и, вспомнив о том, как далеко его семья и Петербург, и глядя на измученное страдальческое лицо Достоевского, он тоже не мог удержаться от слез. Молодой прокурор и государственный преступник посмотрели друг на друга и крепко обнялись. С этого момента началась их дружба. Врангелю было тогда 21 год, а Достоевскому 33.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Служба Достоевского в Семипалатинске была нелегкая: строевое учение с раннего утра, маршировка, наряды, рубка леса в тридцати верстах от города, суровая дисциплина, поддерживавшаяся палками, розгами и зуботычинами. В деревянной грязной казарме солдаты спали по двое на узких жестких нарах, между которыми бегали голодные крысы. Главной едой было варево. Его черпали из железного чана самодельными ложками. Но и это казалось Достоевскому отрадной переменой после четырех лет Омской каторги, когда он, по его собственному выражению, «был похоронен заживо и закрыт в гробу». Предположения некоторых биографов, что каторга была не так уж плоха и что Достоевский в ней «духовно возродился», ни на чем не основаны. Сам Достоевский об этом писал совершенно точно: «это было страдание невыразимое, бесконечное» (письмо от 6 ноября 1854, № 64). Помимо физических лишений, нервных припадков, ревматизма в ногах, болезни желудка, помимо оскорблений и унижений (майор Кривцов наказывал розгами арестантов, кричавших во сне или спавших на левом, а не, как приказывал регламент, правом боку) он испытывал душевные муки от необходимости постоянно быть на людях. Его окружала толпа убийц, воров, насильников и безумцев, общение с ними не прекращалось ни на минуту — и они относились к нему с подозрением и враждебностью, потому что он среди них был единственным баринном. С ссыльными поляками-дворянами и другим

петрашевцем, С. Дуровым, он не дружил. Так и прожил он четыре года в полном одиночестве и без всякой возможности уединения. Выйти из скученности, неволи и духоты каторжной тюрьмы, не ходить с желтым тузом на спине и в десятифунтовых кандалах, не надрываться от тяжелой работы в копях и на кирпичном заводе, вновь обрести свободу передвижения, стать человеком хотя бы в образе муштрованного рядового Линейного батальона, — это было почти счастье. Через несколько недель после перевода в Семипалатинск он сообщал брату: «покамест я занимаюсь службой, хожу на учење и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось». Он физически окреп, и нервные припадki, которые он определял как «похожие на падучую и, однако, не падучая», стали реже (раньше они повторялись каждые три месяца). Ощущение свободы, хотя бы и ограниченной, было настолько сильно, что он не замечал ни своей бедности — денег у него не было, и рассчитывать он мог только на мелкие и случайные посылки от брата из России — ни неприятностей, связанных с его положением солдата и бывшего каторжника. Когда Достоевский появился в своей роте, командир Веденяев, по прозвищу «Буран», сказал фельдфебелю: «с каторги сей человек, смотри в оба и поблажки не давай». Достоевский через несколько дней замешкался в казарме, и фельдфебель больно ударил его по голове. У знакомых офицеры принимали его за денщика и ждали, чтоб он снял с них шинель. Но самым мучительным было стоять в строю, с палкой в руках и опускать ее на обнаженную спину очередной жертвы, которую проводили через зеленую улицу. Позади солдатских рядов шагал Веденяев и метил крестами тех, кто бил неохотно или слабо. Меченых потом секли. Участие в экзекуциях обходилось Достоевскому не дешево: после одной из них он упал в конвульсиях.

Семипалатинск пятидесятих годов прошлого столетия был захолустьем в Киргизской степи, недалеко от Китайской границы. Имя свое он получил от развалин семи палат на правом, высоком берегу Иртыша, существовавших еще в XVIII веке. Некогда он был крупным монгольским центром, и об этом свидетельствовали надписи на бараньих лопатках, обычных скрижалях кочевников, раскопанных археологами. В середине века он превратился в один из форпостов Российской Империи, в военное поселение с каменной крепостью, вокруг которой теснились деревянные бараки для солдат. Всё население городка вместе с гарнизоном не превышало шести тысяч душ. Каменная церковь, казенная аптека и магазин галантерейных товаров считались главными достопримечательностями. Ташкентские, бухарские и казанские купцы торговали в палатках и ларьках или на меновом дворе, обнесенном частоколом, куда сходились караваны верблюдов и вьючных лошадей. Цены на всё были очень высокие, а для нижних чинов и вовсе недоступные. Единственное, что Достоевский мог себе позволить — это калач или бублик на базаре. Мощеных улиц не было — повсюду песок, превращавшийся осенью в топь, а летом в пыль. Растительности никакой: ни деревца, ни кустика перед одноэтажными бревенчатыми домиками, всё голо и безотраднo, точно в пустыне. Но недалеко от городка начинался бор — ель, сосна и ветла, — и тянулся он на сотни верст. По ночам улицы погружались в беспросветную тьму (фонарей не было), и только отчаянный лай множества сторожевых собак выдавал жилье. Убранство домов было скудное, полуазиатское: кошмы (войлочные ковры) на полу и стенах, кое-где лубки с героями Двенадцатого года, скачущими на коне. Почта приходила раз в неделю, газеты и журналы выписывало человек пятнадцать, и образованные люди собирались друг у друга, чтобы поде-

литься новостями и узнать, что делается в столицах. Начальник Достоевского, подполковник Беликов, сам не любил процесса чтения, считая его утомительным для здоровья, и предпочитал слушать. Поэтому, узнав о появлении «сильно грамотного» нижнего чина из дворян, он позвал его к себе для чтения газет вслух. С этого времени и началось знакомство Достоевского с Семипалатинским обществом. Как и повсюду в провинции, здесь, главным образом, занимались картами и сплетнями, и пили водку.

Первое время Достоевский мало выходил из казармы. Соседом его по нарам оказался молодой семнадцатилетний кантонист Н. Ф. Кац, крещеный еврей. У Каца был самовар, он угощал чаем своего молчаливого хмурого товарища и удивлялся спокойствию, с которым тот переносил грубость и невзгоды солдатской жизни. А Достоевский, когда мог, оказывал услуги юноше и помогал ему. Позднее Достоевскому было разрешено поселиться на частной квартире, и он снял комнату в кривой бревенчатой хате, стоявшей на пустыре, на краю города. Он платил пять рублей в месяц за «пансион»: щи, каша, черный хлеб. В низкой полутемной комнате, где вся мебель состояла из кровати, стула и стола, было поражающее множество блох и тараканов. Хозяйка, солдатская вдова, пользовалась дурной репутацией: она открыто торговала молодостью и красотой своих двух дочерей. Старшей было 20, а младшей 16 лет. Младшая была очень хороша собой, и с нею то и подружился, а может быть, и больше, чем подружился, Достоевский. После четырех лет каторги и вынужденного воздержания его сильно тянуло к женщинам, и каждая новая встреча производила на него сильное впечатление. На базаре он познакомился с 17-летней Лизанькой, продававшей калачи с лотка; красивая девушка, у которой была нелегкая трудовая жизнь (она поддерживала всю свою семью), полюбила

солдата за его ласку и внимание. Неизвестно, как далеко зашли их отношения, но Достоевский писал ей нежные письма, которые Елизавета Николаевна Невоорова, оставшаяся девицей, хранила до самой смерти и никому не хотела показывать. Но случайные подружки первых месяцев его пребывания в Семипалатинске не задели его глубоко — ни физически, ни сердечно, и он забыл о них, едва в жизни появилась та, к кому он привязался со всей исступленностью своей натуры и со всем пылом запоздалой первой любви.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Федор Михайлович Достоевский вырос в большой семье* — у него было шесть братьев и сестер, — над которой безгранично властвовал отец, врач Мариинской больницы для бедных в Москве. Доктор Михаил Достоевский любил говаривать, что предок его некогда был с князем Курбским во время переписки последнего с Иоанном Грозным, и что род его восходил к Золотой Орде, но ни знатностью, ни богатством он кичиться не мог. Сын священника, он принадлежал к бедному и захудалому дворянству, и не отличался удачливостью. Мнительно самолюбивый и резкий, он считал себя обойденным: карьеру он сделал маленькую, денег было в обрез, жизнь его не баловала. Вспыльчивый, угрюмый и подозрительный, он доходил до патологических преувеличений в своих обидах и фантазиях. Он был способен обвинить жену в неверности на седьмом месяце ее беременности и мучительно переживать свои сомнения. Почти такой же болезненный характер носили и вспышки его гнева. Возможно, что тот трагический случай в семейной жизни, о котором упоминал С. Яновский со слов А. Суворина, и который яко бы положил начало болезни Достоевского в раннем возрасте, и был испуг от взрыва необузданной вспыльчивости отца. Быть может, он сопровождался насилием над матерью или кем-нибудь из домашних. Яновский

* У Достоевских родилось восемь человек детей, но одна дочь умерла в младенческом возрасте.

говорит об этом в загадочных выражениях: «Федора Михайловича именно в детстве постигло то мрачное и тяжелое, что никогда не проходит безнаказанно в летах зрелых». Что отец бывал «ужасен» во время таких вспышек, известно из свидетельства его сына Андрея, но мы знаем также, что он пальцем не трогал детей и что телесные наказания, столь распространенные в то время не только в России, но и в Англии и Америке, никогда не применялись в его семье. Не об этом ли думал Федор Михайлович, когда впоследствии, в письмах к брату, с восторгом заявлял: «а ведь родители наши были передовые люди». Отношения между отцом и детьми, особенно сыновьями, были дружеские. Нет сомнения, однако, что в богобоязненной и консервативной семье штаб-лекаря Достоевского царила строгая дисциплина, и тяжелый нрав отца чувствовался во всех мелочах домашнего быта. О подсознательной вражде Федора к отцу и его привязанности к матери судить очень трудно. Детей воспитывали в послушании, отец внушал им почтение и страх, и ходили они по струнке. В двухкомнатном флигеле Мариинской больницы, где жило девять человек Достоевских и семеро слуг, не допускалось никаких фривольностей. В доме господствовало пуританское настроение, и о женщинах разрешалось говорить лишь в стихах. Никаких флиртов и явных увлечений у братьев Достоевских в отрочестве быть не могло: их никуда не пускали одних, без провожатых, карманных денег им не давали (до 17 лет Федор не имел ни копейки на личные расходы, и это послужило одной из причин его неумения обращаться с деньгами). В пансион Чермака, где учились Михаил и Федор, их отвозили в семейной карете: в ней же их привозили домой в конце недели. Развлечений дома было мало, и все они носили очень невинный характер. Летом семья уезжала в имение Даровое, купленное с большим трудом в 1831 году, когда Федору

минуло 10 лет, и там дети пользовались большей свободой и играли с деревенскими ребятами, — но за поведением подростков неусыпно следило материнское и отцовское око.

«Отец наш, — рассказывал младший брат Андрей, — был чрезвычайно внимателен и наблюдал за нравственностью детей, в особенности старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни».

Сестры, которые были моложе Федора, и крестьянские девочки летом — вот то женское общество, какое находил вокруг себя подросток до 16 лет. Его первые эротические ощущения были, конечно, связаны с этими детскими воспоминаниями — и это впоследствии нашло отражение в его жизни и творчестве. Во всяком случае, Достоевский-писатель обнаружил повышенный интерес к маленьким девочкам, вывел их в нескольких романах и повестях, а тема растления малолетней неотступно привлекала его: недаром он посвятил ей потрясающие страницы в «Униженных и Оскорбленных», «Преступлении и Наказании» и «Бесах».

Отношения между родителями создавали другой бессознательный фон, на котором зарождались первые движения любви и ненависти.

В докторе Достоевском были, безусловно, те черты двойственности и даже невроза, которые потом у его великого сына обернулись резкими противоречиями. Отец очень любил своих сыновей, но держал их в ежовых рукавицах, так что они не смели сесть в его присутствии, когда он давал им уроки. Он охотно тратил деньги на их воспитание, но был в остальном мелко расчетлив и скареден. Действительно, он был беден, деньги доставались ему нелегко, надо было копить и экономить, чтобы выплатить долги за деревню. Хозяй-

ство в Даровом шло неважно, пожар и засухи казались владельцу имения катастрофами, от которых нельзя было оправиться, а неудачи усиливали врожденную меланхолию. Федор Михайлович, как и отец, постоянно страшился, что останется без гроша, но отцовская прижимистость и скупость превратились в сыне в мотовство, в легкомысленные траты, в финансовую анархию. Угрюмость, отсутствие жеста, манер, любезности были целиком унаследованы Федором от отца. Мелочность, деспотизм, раздражительность отличали обоих. Михаил Федорович обладал натурой завистливой и огорченной, он, как впоследствии сын, скрывал свое честолюбие и самолюбие. Он жил одиноко, вся родня была женина, они то и приходили в гости, и у главы семьи создавалось впечатление личной изолированности. К тому же некоторые из жениных родственников, как, например, купцы Куманины были богаты, и это способствовало комплексу недовольства и униженности, вызывавшего приступы уязвленной гордости и нездоровой щепетильности.

Мать Федора, Мария Федоровна Нечаева, происходила из семьи зажиточных московских купцов. Напрасно некоторые биографы старались представить ее забитой и безропотной жертвой мужа-тирана. У нее была «веселость природного характера», ум и энергия. Конечно, она полностью признавала авторитет главы семьи, владыки и повелителя, но совершенно не была пассивной и безгласной. Она любила его настоящей, горячей и глубокой любовью. Ее письма к нему дышат и наивной преданностью, и большим поэтическим настроением: для мало образованной женщины тридцатых годов прошлого столетия она писала исключительно хорошо, с тем литературным даром, который передала детям. Она не только не трепетала перед гневным и суровым мужем, но, наоборот, была ему постоянной опорой и помощницей, ободряла его в периоды душев-

ной депрессии, боролась с его мнительностью и меланхолией. По его собственному выражению, она всегда говорила и писала ему «резкую истину своих чувств». Мягкая, добрая и нежная, она в то же время отличалась и практичностью, и сметливостью, и вела хозяйство и в городе и в деревне крепкой рукой, как множество типично русских активных женщин. Таким и остался ее образ в памяти Федора. Внешность ее отличалась женственностью и хрупкостью: у нее было шаткое здоровье, ослабленное частыми родами. Она не могла кормить детей и вынуждена была брать кормилиц из деревни. Еще в раннем детстве Федора у нее открылся туберкулез, она много хворала, проводила целые дни в постели, и дети подходили к ее кровати и целовали тонкую руку с синими жилками. И тут снова — неизгладимое воспоминание: на всю жизнь Федор запомнил болезнь матери — и в его сознании любовь и жалость, женское и увядающее слилось в безраздельном, волнуемом и трогательном единстве. Она умерла сравнительно молодой, в 1837, когда Федору не исполнилось еще 16 лет.

После смерти матери отец отвез Михаила и Федора в Петербург и поместил их в Инженерное военное училище. Из монастырского затворничества дружной семьи Федор попал в бюрократическую атмосферу закрытого учебного заведения: новичков или «рябцов», как их называли, цукали и истязали воспитанники старших классов; Инженерное училище, пожалуй, стояло выше кадетских корпусов, и из него вышло не мало праведников, как это отметил впоследствии Лесков, но в нем был всё тот же дух мертвящей дисциплины и шагистики. Сверстники встретили молодого Федора Достоевского насмешками: он был замкнут и робок, у него не было ни манер, ни денег, ни знатного имени. Дома, в семье, Федора считали резвым и бойким ребенком и скорее упрекали в живости характера: и мать, и

отец сходились, что «Федор — это огонь». Он верховодил во всех играх, проявлял необычайную пылкость нрава и воображения. Но в чужой среде он замкнулся в себя. Его товарищ по училищу К. Трутовский, ставший впоследствии известным художником и академиком, рассказывал, что в 1838 году Достоевский был худощав, угловат, платье сидело на нем мешком, и хотя в нем ощущалась доброта, вид и манеры его были угрюмы и сдержанны. Он был нелюдим, держался особняком, порою бывал смешным и, вероятно, показался неоперившимся птенцом всем этим дворянским сынкам, которые в семнадцать лет уже познали тайны любви в объятиях крепостных девок или петербургских проституток. Федор же мог гораздо лучше рассуждать о Пушкине, которого он боготворил (после смерти поэта он попросил у отца разрешения носить траур), о Шиллере, об исторических героях, чем о женщинах. Только два-три приятеля знали, что, несмотря на внешнюю вялость и холодность, он был горячим, порывистым юношей, порою резким на язык. Уже и тогда отличался он восторженным идеализмом и повышенной, болезненной впечатлительностью. Он избегал ходить в гости, не умел держать себя на людях и страшно смущался в женском обществе. Существует рассказ, что в начале 1840 года он упал в обморок, когда на вечере у Вьелгорских его представили известной в те годы красавице Сенявиной. Возможно, что обморок этот носил характер нервного припадка.

Всё это не значит, что Достоевский был фефелой, простофилей или совсем не был осведомлен о «фактах жизни». Они во всяком случае напомнили ему о себе в 1839 году, когда он получил ошеломляющее известие о смерти отца. Доктор Достоевский после кончины жены вышел в отставку и поселился в деревне, где приблизил к себе Катерину Александрову, еще раньше бывшую у него в услужении в Москве. Он жестоко пил,

порол крестьян и дворовых по всякому поводу, и в своей мнительности, подозрительности и вспышках гнева доходил до истерического состояния. Когда осенью 1838 года Федор написал ему о своем провале на экзамене, с ним случился нервный припадок. Это не помешало ему, однако, ответить сыну в мягких и сдержанных выражениях.

Крестьяне его ненавидели и, очевидно, устроили против него целый заговор, в котором принимал деятельное участие Ефим Максимов, дядя любовницы барина. Летом 1839 группа крестьян, которых Достоевский начал яростно ругать, набросилась на обезумевшего помещика и убила его. Приехавшим следственным властям крестьяне, повидимому, дали крупную взятку: официальное расследование пришло к выводу, что смерть отставного штаб-лекаря Михаила Достоевского, чье обезображенное тело было найдено в роще, последовала от «апоплексического удара». Но хотя дело замыли, нельзя было скрыть истину от родных и соседей.

Смерть отца произвела потрясающее впечатление на Федора. Его ошеломили все обстоятельства этого страшного конца, в котором соединились и разврат, и пьянство, и насилие, и элементы тайны, и ряд загадочных бытовых деталей. Все эти факты и переживания так глубоко запечатлелись в его памяти, что через сорок лет он использовал их в «Братьях Карамазовых», хотя трудно сказать, в какой мере портрет старика Карамазова соответствовал воспоминаниям Федора Достоевского о собственном его отце. Но даже и без этих литературных доказательств, можно с уверенностью предположить, что 18-летний юноша был поражен трагедией в Даровом. Фрейд утверждает, что до этого момента болезнь Федора носила сравнительно невинный характер: травматическое потрясение превратило ее в эпилепсию. По мнению венского ученого, юноша бес-

сознательно желал смерти отца, которого ревновал к любимой матери, и когда желание осуществилось, испытал ужас и непобедимое чувство вины и раскаяния; теперь он готов был принять любую кару, чтобы искупить свой тайный грех. Эдиповым комплексом Фрейд и его ученики объясняют не только мазохизм Достоевского и его приятие страдания, но и его восстание против разных форм авторитета или отцовства: он, или во всяком случае созданные им герои, воевали и против Отца небесного, и против Царя-батюшки — и эту борьбу Достоевский всегда ощущал как преступную, хотя она и привлекала его с болезненной силой. Все его противоречия, все его шатания от социализма к консерватизму, от неверия к церковности опять-таки коренятся в основном психологическом изъяне. Достоевский, подсознательный отцеубийца, стал верным сыном церкви и престола, потому что стремился бессознательно к преодолению своих преступных наклонностей. «Смирись, гордый человек», «верую, приемлю, подчиняюсь» — таково было его магическое заклинание, которым он надеялся отогнать злых духов мятежа. И разве не знаменательно, что его самый глубокий и сложный роман — «Братья Карамазовы» — построен вокруг темы отцеубийства, и что всё творчество Достоевского посвящено вопросам о преступлении и наказании в самых различных видах.

Как бы ни относиться к применению теории психоанализа для объяснения личности Достоевского, совершенно ясно, что было бы весьма рискованно выводить только из Эдипова комплекса всё бунтарство Достоевского и все противоречия его веры и неверия, революционности и верноподданничества, славянофильства и западничества, религиозного анархизма и церковности, интуиции и логики. Интеллектуальная, идеологическая и психологическая сложность Достоевского не исчерпывается схематическим толкованием фрейдизма — и

это несмотря на меткость и справедливость многих замечаний Фрейда и его учеников о внутренних конфликтах Достоевского человека и писателя.

Фрейд считает, что невозможность разрешить Эдипов комплекс и освободиться от него, вызвала обычные в таких случаях патологические явления невроза — и Достоевский заболел эпилепсией. Во время припадков Достоевский, по собственному признанию, испытывал тягостное ощущение вины, точно он был великим грешником — затем приходил миг просветления, невыразимого блаженства, — и потеря памяти, провал обморока. Это и дает Фрейду основание связывать эпилепсию Федора Михайловича с его тайными желаниями отцеубийства и наказания за греховное влечение. Дочь писателя, одна из самых недостоверных свидетелей его жизни, пишет, что «согласно традициям нашей семьи, первый припадок эпилепсии у Достоевского произошел, когда он узнал о смерти отца». Воспоминания тех, кто знал Достоевского в молодости, этого не подтверждают: среди них был и врач, пользовавшийся его в течение ряда лет. Большинство данных указывает, что обострение нервных припадков произошло через несколько лет после убийства отца, по всей вероятности в связи с арестом и ссылкой. Нигде нет указаний, что юноша ответил эпилептическими конвульсиями на известие о том, что произошло в Даровом. И уж совсем фантастическим представляется утверждение его приятеля Григоровича, в передаче Зинаиды Гиппиус, будто «мужики разорвали Михаила Федоровича на глазах сына».

В момент убийства Федор находился за сотни верст от Дарового. Любопытно, что в переписке Достоевского почти нет упоминаний о смерти отца: по свидетельству его дочери, конец Михаила Федоровича считали в семье страшным и позорным и поэтому избегали говорить о нем.

Трудно судить, насколько справедливы предположения Фрейда о роли Эдипова комплекса в жизни Достоевского. Образ отца у него двоился и в его письмах к брату и родным, и в его романах. Возможно, что в какой-то мере поведение отца в Даровом и его любовные похождения были той психологической основой, на которой вырос образ сладострастного старика Карамазова. Вопрос об отношениях отца и сына составляет одну из главных тем «Подростка», и взаимоотношения между родителями и детьми входит в завязку «Неточки Незвановой», «Униженных и Оскорбленных», отчасти «Идиота» и ряда других произведений. Ясно, что вопрос этот неотступно занимал Достоевского. В какой мере было это вызвано неразрешенным, в глубине психики засевающим комплексом вражды к отцу и любви к матери, — сказать с уверенностью, на основании имеющихся фактических данных, никак нельзя. То же самое относится и к происхождению его болезни, которую Фрейд называл аффективной, а не органической формой эпилепсии. Иными словами, он подчеркивал психосоматический характер недуга, и говорил о Достоевском, как о невропатическом субъекте, а не о душевно больном. Мы даже не знаем, были ли его частые недомогания в молодости проявлениями острого невроза или действительными эпилептическими припадками.

Одно известно в точности: формирование его личности происходило в молодые годы тяжело и болезненно, порою мучительно. Ряд факторов поддерживал и нервность, и впечатлительность, и патологическую мнительность юноши. То, что было ему внушено воспитанием, привычки замкнутого и чинного уклада, созданного набожным штаб-лекарем и хлопотливой его женой, уклада несколько не идиллического, но стройного и ясного, разрушились от соприкосновения и с новой петербургской действительностью, и со стра-

стями, вдруг доказавшими непрочность семейных устоев. Смерть матери, алкоголизм отца, его любовницы, ненависть крестьян, убийство и обман, продажность чиновников, лицемерие окружающих — всё это были прорывы в какой-то изначальный хаос, тревожные вести о пугающем и бредовом мире. А тут еще приходилось жить в военном училище, в бюрократической столице, бороться изо дня в день, терпеть несправедливость и противоречия чуждой среды. Сирота без помощи и опоры, в 18 лет лишившийся семьи, одинокий, и мнительный, он жестоко страдал от контраста между честным и суровым кругом детства и новой казенной и бездушной обстановкой. То, что его волновало и интересовало, не находило отклика в Инженерном Замке. Он мечтал о творчестве, литературе и свободе: в жизни ждало его злобное высокомерие сверстников и глупость и тупость начальников. Порою восторг пробуждавшейся мысли, острота новых впечатлений и размах мечтаний так захватывали его, что предстоящая карьера превращалась в кошмар. «У меня есть прожект сделаться сумасшедшим», — поверяет он брату свою тайну. «Сделаться сумасшедшим» — то есть предохранить себя от того, чтобы к нему приставали люди с их практическими требованиями, жизненными правилами, условностями и стандартами, остаться свободным и независимым за оградой мнимого безумия. В 18 лет он пишет пророческие слова: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В 1840-1841 году, накануне выпуска, жизнь казалась Достоевскому особенно трудной. Он писал по ночам наброски драм и романов, а дежурный офицер гнал его спать. Вытянувшись в струнку на смотрах и учениях, он думал о Гамлете и пушкинских поэмах. Его послали ординарцем к великому князю Михаилу Павловичу, брату императора, и, думая о своем, он забыл отрапортовать по форме. «Посылают же таких дураков», — сказал великий князь.

Необычайно интенсивная внутренняя жизнь Федора Михайловича изредка выбивалась наружу: в иных спорах с товарищами, он неожиданно становился веселым, остроумным и живым, мысли его, по словам современника, были «точно брызги в водовороте». Но обычно, за этими редкими исключениями, он был хмур и грустен и предавался пессимистическим размышлениям о тщете всего земного.

В 1841 году Достоевский был произведен в прапорщики и должен был закончить свое образование, как слушатель офицерских классов. Это означало право жить вне Училища и пользоваться относительной свободой.

Он снял вместе с товарищем квартиру из четырех комнат (из которых, впрочем, только одна была обмеблирована) и проводил дни и ночи за книгой и писанием. Мечты кипели в нем, он строил самые фантастические литературные планы. Когда старший брат Ми-

хаил приехал к нему из Ревеля, он читал ему отрывки из своих драм «Мария Стюарт» и «Борис Годунов», рукописи которых пропали без следа. По ночам, особенно летом, когда Петербург дрожал и переливался в молочно-белом мареве северных сумерек, он любил бродить по набережным Невы. Он сблизился с Шидловским, таким же мечтателем, как и он сам — и с ним он говорил тихо, но с пафосом и убеждением, невольно заражая приятеля своей ненавистью к несправедливости и надеждам на счастливое будущее человечества. Судьбы людей очень волновали его в то время, и он начал интересоваться социальными утопиями.

В 1843 прапорщик Достоевский вышел в подпоручики и был зачислен на службу при чертежной Инженерного Департамента. Военно-бюрократическая карьера его, однако, оказалась весьма краткой. Молодого подпоручика гораздо более занимали туманные очертания «Бедных Людей» и «Двойника», чем точные линии департаментских чертежей. Существует легенда, будто поводом к его отставке, в сентябре 1844 года, через год после производства, был неприятный случай с его чертежом, попавшим на глаза самому императору. Николай I-ый яко бы написал на чертеже: «Какой идиот это чертил!». Царские слова, по обычаю, покрыли лаком, чтобы сохранить их для грядущих поколений. Достоевский, обидевшись, что такая нелестная аттестация переживет века, тотчас же подал в отставку. В архивах инженерного управления чертежа с царской надписью никогда не было обнаружено: не исключена возможность, однако, что он был изъят, когда Достоевский сделался знаменитым писателем.

Одно несомненно: причиной ухода Достоевского со службы были не случайные обиды, а то, что он ею тяготился и желал стать писателем, а не чиновником. Подав в отставку и не имея ни гроша за душой, он

пишет брату: «зачем терять хорошие годы? Кусок хлеба я найду. Я буду адски работать. Теперь я свободен». Его интересовали французские романы Евгения Сю и Фредерика Сулье, перевод произведений Бальзака и собственные литературные опыты. Он органически отталкивался от повторного однообразия департаментской лямки и его казенного ритуала. Сам он был очень беспорядочен и таким остался до смерти. Он не умел распоряжаться ни своим временем, ни своими деньгами. В квартире его царил хаос, и хозяин ее в течение суток переходил от изобилия к нужде. Он был способен заплатить 100 рублей процентов за 300, взятых у ростовщика на четыре месяца. Ненависть Раскольникова к старухе-ростовщице Достоевский впоследствии описывал из личного опыта. Полученные от опекуна деньги он был способен спустить в одну ночь, а затем сидеть неделями на чае, хлебе и колбасе. Напрасно приятель его брата, доктор Ризенкампф, решил поселиться на одной квартире с беспорядочным молодым человеком: расчетливому немцу не удалось образумить беспутного расточителя. Однажды он получил тысячу рублей от опекуна, а на другое утро явился к изумленному Ризенкампфу просить пять рублей займа. Первого февраля 1844 года пришла новая получка, тоже тысяча рублей, — но к вечеру у Достоевского оставалось лишь сто: он ухитрился проиграть остальное на биллиарде и в домино. Он ссужал деньгами бедных пациентов доктора, платил бешеные деньги перекупщикам за билеты на концерты Листа или на представления «Руслана и Людмилы», а когда Ризенкампф простудился, вылечил его собственным способом: повез сопротивлявшегося сожителя в известный ресторан Лерха и угостил его таким обедом с дичью, вином и шампанским, что у больного вся хворь мигом выскочила. Но после концертов и обедов приходилось питаться сухарями и молоком, да и то в долг в мелочной лавочке. Зимой До-

стоевский часто простужался: комнаты не топились, на дрова нехватало средств.

Он уходил греться в трактиры и часами просиживал с «потерянными личностями» — выгнанными со службы чиновниками, пьяницами, картежниками и подозрительными особами обоего пола. Один из этих представителей петербургского дна, приживала и жулик, Келер стал его постоянным собутыльником. Впрочем, водку пил один Келер, Достоевский никакого пристрастия к алкоголю не питал и даже плохо его переносил; крепких напитков избегал, в кабаках и на дружеских пирушках пил вино или пиво — да и то в небольшом количестве. К еде он тоже относился скорее равнодушно — но был лакомкой, и очень любил сладкое. Отличался он в это время худобой, болезненностью, часто страдал от простуды, желудочных болей и нервных судорог. Товарищей он поражал своими странностями: он был суеверен, придавал большое значение знакам и символам, знамениям и пророчествам, ходил к гадалкам и страшно боялся, что впадет в летаргию и будет преждевременно погребен. Боязнь эта доходила до того, что во время недомогания он оставлял на столе записку, требуя, чтобы в случае смерти, его не хоронили пять дней. Однажды, при встрече с похоронной процессией, он упал в беспамятстве.

Несмотря на внешнюю беспорядочность его существования, Достоевский упорно и систематически работал над романом «Бедные люди». Вся его ставка была на это произведение: «Если мое дело не удастся, — пишет он брату, — я, может быть, повешусь». В 1845 году, терпя горькую нужду, больной и усталый, никому неизвестный и одинокий, он снова и снова переделывает и исправляет это первое свое крупное детище и не знает, что с ним сделать: послать в журнал или попытаться издать самому. Волнуясь и не решаясь ни на что, он худеет и не спит ночи напролет. Но в мучениях

его была своеобразная прелесть: «Нет, если я был счастлив когда-нибудь... то это тогда... когда я еще не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний, и страстной любви к труду, когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существующими, любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже плакал самыми искренними слезами над незатейливым героем моим» («Униженные и оскорбленные»). Но в мае 1845 года его сожитель Григорович, будущий автор «Антон Горемыки» и друг многих русских и французских литераторов 19 века, показал рукопись романа Некрасову, который подготавливал к печати альманах прозы и стихов. Прочитав «Бедные люди» Некрасов пришел в такой восторг, что решил тотчас же ночью ехать к молодому автору. Напрасно Григорович предлагал отложить визит, говоря, что Достоевский наверное спит в четвертом часу утра. «Что же такое, что спит, — рассердился Некрасов, — мы разбудим его. Это выше сна». Впечатление, произведенное на Достоевского этим ночным посещением, объятиями Некрасова, его взволнованными похвалами, было незабываемо. В расвете петербургского весеннего дня к нему пришла слава — исполнилась мечта его молодости. «Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни», — признавался он много лет спустя. Свидание с Белинским, высоко оценившим роман, укрепило его радужное настроение: великий критик сказал ему, что «Бедные люди» — «ужас и трагедия». Многие из тех, кто читал роман в рукописи, плакали от жалости. Завязка романа была любовь — но любовь кроткая, мечтательная и несчастливая. Мелкий чиновник, пожилой и некрасивый Макар Девушкин, полюбивший молоденькую Варвару, жившую в соседнем доме, совсем не походил на романтического героя. Всё мешало ему: робость,

мешковатость, бедность, наивность, да он и не надеялся завоевать девушку. Он только жалел ее, хотел помочь ей, облегчить ее труд и нужду — и вся его радость была в отречении от себя. Жертвовать собой, тратить на Варвару нищенские сбережения, терпеть ради нее лишения, вплоть до отказа от табаку, ходить в оборванной одежде, чтобы посылать ей лакомства и цветы, жертвовать собой смиренно, тайно, не ожидая награды — вот какой была любовь маленького человека, обитавшего на задворках жизни. Этот «забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуговицы на вицмундире обсыпались», говорил «самым простым слогом», но из его неприятельного рассказа становилось понятно, что «самый забитый, самый последний человек, есть тоже человек и называется брат мой». Варвара, в конце концов, разгадывает и его святую ложь, и его нужду, и его жертву, — и решает уйти, облегчить его участь и спасти себя от нищеты, выйдя замуж за «приличного человека» с деньгами, хотя она и не любит, и боится своего жениха и сомневается в его чувстве к ней. Так кончается мечта Макара — и он остается, раздавленный и одинокий, в темноте и скудости петербургского мещанского подполья.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Хотя Достоевский и не походил на Макара Девушкина, у него тоже, кроме мечты о любви, ничего не было. В «Белых ночах», автобиографической повести, написанной вскоре после «Бедных людей» (напечатана в 1848 г.), Достоевский вывел молодого человека, блуждающего по столице и мечтающего о разделенной любви. Но все романы разыгрываются лишь в его воображении, в жизни он пуглив и одинок: «Точно, я робок с женщинами, я совсем отвык от женщин, то есть я к ним и не привыкал никогда, я ведь один... Я даже не знаю, как говорить с ними». Он знакомится на улице с Настенькой, он поверяет свои мечты этой красивой и милой девушке, а она рассказывает о своей любви к другому. И хотя петербургский мечтатель страстно влюбляется в свою случайную подругу, он помогает ей, бескорыстно и самоотверженно, — и уходит, чтобы не мешать любимой, когда появляется счастливый соперник. Так во всех крупных своих произведениях Достоевский изображал неудачи любви, связанной с жертвой и страданием: любви торжествующей, радостной и по-мужски уверенной он описывать не умел.

В «Белых ночах» Достоевский, очевидно, передал собственные переживания. Он смущался и робел, когда речь шла о женщинах. «Не знаю, что родила мадам Белинская, — пишет он брату, — слышал, что кричит за две комнаты ребенок, а спросить как-то совестно и странно».

Он мог часами мечтать о любви и прекрасных незнакомках, склоняющихся к нему на грудь, но когда ему приходилось встречать не воображаемых, а живых женщин, он становился неловок или смешон, и его попытки близости неизменно кончались настоящей катастрофой.

Успех «Бедных людей» раскрыл перед ним двери петербургских салонов, и в доме светского литератора Панаева он познакомился с его женой Авдотьей Яковлевной. «Вчера я в первый раз был у Панаева, — пишет он брату 16 ноября 1845 года, — и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, и вдобавок любезна и пряма до нельзя. Время я провожу весело».

Авдотье Панаевой было тогда 22 года. Невысокая, кокетливая брюнетка с безукоризненными чертами красивого и привлекательного лица, она вся точно сверкала: блеск ее зубов, ее карих глаз, ее светлой кожи, крупных бриллиантов на шее и в ушах, сливались в какое-то слепительное сияние. Темное платье, отделанное кружевами, подчеркивало ее гибкую стройность. Такой увидел ее Достоевский, и она покорила его с первого взгляда. Но она всегда была окружена, и среди толпы поклонников Некрасов меньше всех скрывал свои чувства: через два года она стала его любовницей.

О своем увлечении Достоевский сам рассказал брату через три месяца после встречи с Авдотьей Яковлевной: «Я был влюблен не на шутку в Панаева, теперь проходит, а не знаю еще. Здоровье мое ужасно расстроено, я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической» (1 февраля 1846). Эта первая влюбленность была и мучительна и унижительна. С самого начала ему стало ясно, что на взаимность надеяться никак нельзя, и что чувство его обречено на медленное увядание. А к любовной неудаче присоединился еще и светский провал: интерес к нему в петербургском об-

ществе быстро упал, да и вел он себя самым нелепым и глупым образом.

«С первого взгляда на Достоевского, — рассказывает Панаева в своих воспоминаниях, — видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались... По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и высокое мнение о своем писательском таланте. Ошеломленный неожиданным блистательным первым своим шагом на литературном поприще и засыпанный похвалами компетентных людей в литературе, он, как впечатлительный человек, не мог скрыть своей гордости перед другими молодыми литераторами. С появлением молодых литераторов в кружке, беда была попасть им на зубок, а Достоевский, как нарочно, давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах, особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стену и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. У Достоевского явилась страшная подозрительность... Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту... и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду. Он приходил уже к нам с накипевшей злобой, придирался к словам, чтобы излить на завистников всю желчь, душившую его. Вместо того, чтобы снисходительно смотреть на больного, нервного человека, его еще сильнее

раздражали насмешками». Раздражение это усиливалось тем, что насмехались над ним в присутствии любимой женщины, которая выказывала ему только оскорбительное снисхождение.

Любовь к Панаевой Достоевский переживал тем мучительнее, что она была, вероятно, единственной женщиной, так сильно его взбудоражившей. В его обширной переписке сороковых годов нет, кроме Панаевой, никаких упоминаний о влюбленности, да и воспоминания современников не содержат ни одного женского имени, связанного с Достоевским этой эпохи. На основании этого, однако, не следует делать ошибочных выводов, будто Достоевский в двадцатипятилетнем возрасте был девственником — как это мерещится некоторым его биографам. Ризенкампф, живший с ним на одной квартире, говорит, что в 1842-44 гг., женщины Достоевского не интересовали, он яко-бы чувствовал к ним антипатию, а дочь утверждает, что чувства его в это время еще не были пробуждены. Очень трудно поверить этим утверждениям. Сам Ризенкампф прибавляет, что «может быть, в этом отношении он скрывал кое-что», и затем вспоминает о большом любопытстве Достоевского к любовным делам товарищей. А что «женофобия часто скрывает не равнодушие, а наоборот заостренную сексуальность — хорошо известно».

Сексуальность эта носила, вероятно, двойственный характер — и в этом надо искать объяснения странностям поведения и противоречиям чувств Достоевского. Как и большинство эпилептиков, он, повидимому, обладал повышенной половой возбудимостью — и наряду с ней была в нем мечтательность идеалиста. То «озарение плоти», о котором упоминают некоторые биографы (Истомин), пришло к нему не в виде восторженной юношеской первой любви, а в образе случайных встреч с женщинами легкого поведения. Насколько

он сумел в этих продажных объятиях испытать «угрюмое предчувствие женских чар и стихийной страсти», судить очень трудно — но, несомненно, молодой Достоевский начал различать любовь от физического наслаждения. Они явились ему как две, друг с другом не соединенные стороны какого-то ускользающего единства — и хотя он и понимал, что их слияние — высшее достижение — добиться его в молодости он не мог. Панаева оставалась в той сфере, в которой для мечтателя «Белых ночей» царила высокая страсть без физического обладания, а женщины, которых он встречал на петербургских окраинах, предлагали ему голое удовлетворение полового желания. В том самом письме к брату, в котором Достоевский говорил о своей безнадежной влюбленности в Панаеву, он писал: «я так распутен, что уже не могу жить нормально, я боюсь тифа или лихорадки и нервы больные». Так над молодостью Достоевского тяготел образ двуликого Эроса. Это тем более понятно, если вспомнить мотив двойничества в его творчестве этого периода. Раздвоение личности в герое «Двойника», Голядкине, носит не только характер паранойи, но и эротических фантазий. Конечно, Достоевский через творчество освобождался от многих своих комплексов и противоречий, но «очищение», «катарсис», не исчерпывали целиком волнений его плоти и воображения.

В той среде, где он жил — а он, по собственному признанию, участвовал в товарищеских пирушках, — шумные вечера обычно заканчивались в публичных домах, и трудно поверить, что поручик Достоевский не бывал в них. Сомнительно также, чтобы во время его блужданий по трактирам и трущобам большого города, он не соприкасался с проституцией. Он, должно быть, очень хорошо знал ее — если судить по всем описаниям человеческого дна, которые разбросаны в его ранних и поздних произведениях. Достаточно прочесть

«Хозяйку», «Неточку Незванову» и «Двойника», чтобы убедиться в разнообразии личного эротического опыта писателя. Впоследствии «Униженные и оскорбленные» еще более это подтвердили.

Помимо всего прочего, по темпераменту он был человеком больших страстей и тяжелой чувственности. Уже на закате жизни он говорил Опочинину о том, как велика власть пола над человеком, о подчинении воли физическому возбуждению, и о том, что мысленное разжигание желания, плоти, хуже самого греха. А он, очевидно, знал в молодости и это умственное разжигание, эту игру эротического воображения, и непосредственное удовлетворение половой потребности, которую впоследствии называл грехом. Об этом имеется ряд свидетельств.

«Минушки, Кларушки, Марианы и т. п. похорошели до нельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбрали меня в прах за беспорядочную жизнь», пишет он брату в ноябре 1845 года. Даже если принять за шутку перечисление этих имен, типичных для петербургских профессионалок того времени (большинство из них были немки или уроженки прибалтийских губерний), в нем содержится какая-то доля истины. Она подтверждается и другими местами из переписки: «порядочно я жить не могу, до того я беспутен» (1846). А после ареста в 1849 году он пишет из крепости: «казематная жизнь уже достаточно убила во мне плотских потребностей, не совсем чистых; я мало берег себя прежде». О буйной природе этих потребностей сомневаться не приходится. «Моя натура не может не прорваться в крайних случаях и прорваться именно крайностями, гиперболически» (письмо из крепости, 22 декабря 1849). Он не выносил фарисеев и мудрецов, которые проповедовали довольство собой и осуждали «сильную горячую душу, не выносящую их

пошлого дневного росписания и календаря жизненного», и наделял своих воображаемых противников непечатными прозвищами («... негодные» — февраль 1844). Он-то, во всяком случае, не придерживался установленных правил морали и приличного поведения.

Те, кто хорошо знали Достоевского (Майков, Страхов), говорят об его чувственности и сладострастии, о темных тайниках его половой личности. Эротическая его жизнь постоянно была осложнена болезнями, мнительностью и меланхолией. Возможно, что приступы болезни (нервные припадки или падучая, если считать, что она началась с 1839 г.), делали его особенно чувствительным и колеблющимся: он не верил в возможность своего успеха у женщин, отгонял от себя мысли о браке — куда ему, бедняку и больному — или же, подобно князю Мышкину, герою «Идиота», опасался импотенции на нервной почве. У людей его физического строя потенция всегда бывает очень переменной, и не поддается контролю воли и сознания. А то, как разворачивались события его жизни, никак не могло укрепить в нем веры в собственные силы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Два события обострили болезненное состояние Достоевского в 1846-7. Первый удар была неудача с Панаевой: он даже не осмелился признаться в своей любви, до такой степени казалась она не к месту, нелепой и невозможной. Он должен был со стесненным сердцем наблюдать, как другие ухаживают за ней, и выслушивать насмешки со стороны счастливых соперников. С этих пор, вероятно, идет его ненависть к Тургеневу.

Вторым ударом был «поворот колеса Фортуны». Опыление неожиданным успехом «Бедных людей» быстро прошло. Петербургская поэма «Двойник», на которую Достоевский возлагал большие надежды и которая, по его словам, должна была превзойти первый роман, не понравилась ни публике, ни критикам. Последние сочли ее слабым подражанием Гоголю и не заметили всех тех идей, какие писатель попытался вложить в нее. Подобная же участь постигла и другие мелкие произведения, печатавшиеся в периодических изданиях. Только в 1848 и 1849 годах «Белые ночи» и «Неточка Незванова» были отмечены, как идущие вровень с его первым блестящим опытом. Но в это время Достоевский уже сидел в крепости.

Он очень мучительно переживал свой литературный срыв. Зависть, оскорбленное самолюбие, взрывы гордости сменялись у него тоской и безнадежностью.

То он сравнивал себя с Гоголем и обещал «всем показать», что «первенство в литературе останется за мной», то с горечью признавался: «у меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие». К обиде, разочарованию и сомнениям в себе присоединялись еще внешняя неустроенность, долги, безденежье и поиски заработка. Спешная работа литературного поденщика — переводы, писание рассказов для покрытия авансов, взятых в журналах, правка корректур — давала гроши. Достоевский жил в худо скрываемой нищете, одиночестве и заброшенности. На почве нервности, физического истощения, беспорядочной жизни и усиленного труда у Достоевского развилось нечто в роде психической болезни, о которой он впоследствии упоминал неоднократно, хотя и довольно глухо. Он описал ее в «Униженных и Оскорбленных»: «малопомалу, по наступлении сумерек, я стал впадать в то состояние души, которое я называю мистическим ужасом. Это самая тяжелая мучительная боязнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостижимого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию минуту осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума». В этом состоянии он часто испытывал то расщепление личности, которое и породило мысль о «Двойнике» (литературно навеянном Гофманом, Шамиссо и отчасти Гоголем). После приступов мистического ужаса, столь похожих на «озарение» перед эпилептическими конвульсиями, приходили хандра и отупение, сопровождавшиеся слабостью и потерей сил. Иногда же появлялось неудержимое желание забыться какой угодно ценой. Так как Достоевский не пил, то забвения он мог искать либо в игре, либо в женщинах. И в душе и в жизни его они тесно переплетались. В 1847-49 году он вел фантастическое существование, полное мистической тревоги, взлетов мысли и судорог плоти. Он, конечно, изживал

свои внутренние конфликты в творчестве: «Хозяйка», «Неточка Незванова» и мелкие рассказы этого периода дают обширный психо-аналитический материал. Но внутренние его порывы находили выход и в жизни: для страстей существовали отдушины. Хождение по кабакам и притонам, игра и женщины — всё было испробовано Достоевским в эти тяжелые годы — и испробовано со стыдом, с раскаянием за несдержанность, с самобичеванием за разврат. Много лет спустя, герой «Записок из подполья» (1864) так описывает свою молодость:

«В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя была уже и тогда угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить, и всё более и более забивался в свой угол...* Дома я всего больше читал... Чтение, конечно, много помогало — волновало, услаждало и мучило. Но по временам наскучало ужасно. Всё-таки хотелось двигаться, и я вдруг погружался в темный, подземный, гадкий не разврат, а развратишко. Страстишки во мне были острые, жгучие от всегдашней болезненной моей раздражительности... Порывы бывали истерические, со слезами и конвульсиями... Накипала сверх того тоска; являлась истерическая жажда противоречий, контрастов, и вот я и пускался развратничать. Развратничал я уединенно, по ночам, потаенно, боязливо, со стыдом, не оставлявшим меня в самые омерзительные минуты и даже доходившим в такие минуты до проклятья... Боялся я ужасно, чтоб меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали... Ходил же по разным весьма темным местам. Скучно уж очень было сложа руки сидеть, вот и пускался на выверты... Сам себе приключения выдумывал и жизнь сочинял, чтоб хоть как-нибудь да пожить. Но конча-

* Подобное же место есть и в «Белых Ночах».

лась полоса моего развратика и мне становилось ужасно тошно... Но у меня был выход всё примирявший, это спастись во всё «прекрасное и высокое», конечно, в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду, забившись в свой угол... Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я бывало в этих мечтах моих». Н. Страхов, биограф и друг Достоевского, утверждал, что «лица наиболее на него похожие — это герой из «Записок из Подполья», Свидригайлов из «Преступления и Наказания» и Ставрогин в «Бесах». Он же рассказывает о «животном сладострастии» Достоевского и о том «как он был развратен». «При этом он был сентиментален, расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости» (письмо Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 г., через два года после смерти Достоевского). Страхов прибавлял, что в биографии, которую он готовил в это время к печати, он, конечно, не мог упоминать об этих чертах личности великого писателя: «пусть зато правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни».

Гуманные мечтания привели Достоевского ко всем тем проблемам, которые он впоследствии раскрыл в своих романах. Именно в те годы, когда он был литературным пролетарием, работавшим на различных не слишком щедрых хозяев, когда он изнывал от тягот быта и метался от «высоких и прекрасным порывов» к удушливым «пакостям», как выражался Страхов, — именно в эти тяжелые годы он начал мучиться проблемой «дерзающей личности» и ее правом на свободное действие и даже на преступление. Вопрос о зле в мире, о религиозном переустройстве человечества, о Боге,

создавшем всю муку и страдания нашего существования, и о противоречиях между моральными идеалами и гнусностями российской политической и социальной действительности особенно волновали его в 1848 и 49 годах. В эту эпоху, представляющуюся историку периодом государственной окаменелости, крепостничества и реакции, в русском обществе под спудом происходили значительные внутренние сдвиги: славянофилы спорили с западниками о судьбах и путях народа и власти, о назначении национальной культуры, а философы и публицисты закладывали основы мировоззрения либеральной интеллигенции. Мысль, стесненная цензурой и полицейскими запрещениями, всё настойчивее обращалась к вопросам социального и экономического устройства страны и политической свободы, и Достоевский, поддаваясь общему настроению интеллигентских кружков, к которым он был близок, сильно увлекся гуманитарными идеями и утопическим социализмом французского толка. Планы русских социалистов сливались в его воображении со смутными надеждами на то особое слово, которое Россия была предназначена сказать миру. Эти надежды заставляли с особенным стыдом и болью ощущать всё безобразие окружающего. Произвол властей, страдания бедняков, забитость и униженность маленьких людей и жестокая несправедливость крепостного права вызывали горячий отклик в его душе. Эти настроения и привели Достоевского в кружок Петрашевского, где читали вслух и комментировали сочинения Сен-Симона, Фурье, Оуэна и письмо Белинского Гоголю, в котором критик упрекал автора «Мертвых душ» в мракобесии, подчинении внешней церковности и поддержке самодержавия и рабства. На одном собрании Достоевский произнес речь о христианском социалисте Ламеннэ, библейский и проповеднический стиль которого соответствовал его собственному мистическому настроению.

нию, и довел слушателей до слёз своими вдохновенными комментариями. Он не знал, что среди присутствующих находился агент Третьего Отделения, и что ему вскоре предстояло дорого заплатить за призывы к справедливости, братству и вольности. 23 апреля 1849 г. Достоевский был арестован и посажен в каземат Петропавловской крепости. Он просидел в нем восемь месяцев, и здоровье его сильно ухудшилось: он не мог есть из-за болей в желудке, его мучил геморрой, по ночам на него находили уже ранее испытанные припадки смертного ужаса, а когда он забывался, то видел пугающие кошмары. По его собственному выражению, он жил тогда только «своими средствами, одной головой, и больше ничем»... «Всё у меня ушло в голову, а из головы в мысль, всё, решительно всё».

22 декабря, после страшной пытки мнимой казни, когда он ежеминутно ждал конца, он писал брату:

«Я не ныл и не пал духом. Жизнь, везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем... Подле меня будут люди, и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда... вот в чём жизнь, вот в чём задача ее. Я сознаю это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда, та голова, которая создавала, жила высшей жизнью искусства, которая создала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих... Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю, через четыре года будет возможность. Боже мой! сколько образов, выжитых, созданных мною, вновь погибнет, угаснет в моей голове или отравой по крови разольется. Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках... Прощай! Теперь отрываюсь от всего, что было мило. Больно покидать это! Больно переломить себя на двое, перервать сердце пополам».

Через два дня, в сочельник, после прощания с бра-

том, Достоевского заковали в десятифунтовые кандалы и посадили в сани, которые должны были через Ярославль и Нижний-Новгород везти государственного преступника за три тысячи верст, в Сибирь, на каторгу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Когда в 1854 г. Достоевский оказался в Семипалатинске, он был зрелым, 33-х летним мужчиной. На каторге он приобрел значительную власть над своими настроениями или по крайней мере их внешними проявлениями. Прежние черты замкнутости и скрытности усилились, а то, что он называл «отсутствием формы» или манер, приобрело характер резкости и даже диковатости. В нем произошел также и внутренний переворот: он отказался от прежних либеральных идей, которые послужили причиной катастрофы, принял наказание как должное, и, придя в соприкосновение с подлинными представителями крестьянской Руси, отрезвился от множества прекраснотушних иллюзий о народе. Сильнее, чем когда-либо прежде, ощутил он необходимость веры в Бога, и Христос, страдавший на кресте и искупивший грехи людей своей собственной смертью, сделался для него самым близким и понятным образом человека и символом религии всепрощения и милосердия.

«Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа — нет и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины и *действительно* было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться с Христом, нежели с истиной», писал он Н. Д. фон Визиной по выходе с каторги. Но почти одновременно он писал брату: «я дитя века, дитя не-

верия и сомнения, до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить». (Февраль, 1854).

Прежняя его мечтательность осталась, но и она сильно изменилась. Теперь, еще больше, чем в молодости, знал он разницу между Афродитой земной и Афродитой небесной. Он немало видел и пережил на ссыльных этапах и в Омской каторжной тюрьме, где его товарищи по несчастью занимались мужеложством или любовью с такими бабами-калачницами, на которых и взглянуть было страшно.

От женского общества он успел настолько отвыкнуть, что мечтал о нем, как о высшем блаженстве. В Семипалатинск он приехал с тайными стремлениями, в которых сам себе боялся признаться. Он походил на больного, который начинает выздоравливать после смертельной болезни и с удвоенной силой чувствует всю прелесть и соблазны бытия. Он сам писал: «надежды было у меня много. Я хотел жить». И он хотел любить.

Через несколько месяцев после приезда в Семипалатинск, Достоевский встретился на квартире подполковника Беликова с Александром Ивановичем Исаевым и женой его Марьей Димитриевной.

Александр Исаев, бывший учитель гимназии, директором которой одно время состоял его тесть, попал в Семипалатинск в качестве чиновника для особых поручений по корчемной части. Работы у него было немного, но корчмы притягивали его неотступно. Он вскоре потерял службу и, очутившись без места и без средств, стал пить горькую. Человек слабого здоровья и еще более слабой воли, он попал в компанию пьяниц и забулдыг, которых было немало в городке, и вскоре совсем опустился. В пьяном виде он любил разглагольствовать о возвышенности и изяществе своих чувств, и заверял Достоевского о своей любви к нему

как человеку и писателю. Два года спустя, в письме к брату, Достоевский так говорил об Исаеве: «жил он очень беспорядочно, да и натура его была довольно беспорядочная, страстная, упрямая и немного загробелая. Он очень опустил в здешнем мнении и имел много неприятностей, но вынес от здешнего общества много незаслуженных преследований. Он был беспечен, как цыган, самолюбив, горд, не умел владеть собой и, как я сказал уже, опускался ужасно. А между прочим, это была натура сильно развитая, добрейшая. Он был образован и понимал всё, о чем бы с ним ни заговорить. Он был, несмотря на множество грязи, чрезвычайно благороден».

Несомненно, что Достоевский-романист очень заинтересовался этим «благородным пьяницей с амбицией». Воспоминание о нем, вероятно, жило в писателе, когда, несколько лет спустя, он создавал Мармеладова в «Преступлении и наказании» и Лебедева в «Идиоте». Нити от Исаева протягиваются даже к Мите Карамазову.

Уже в начале знакомства с Достоевским Исаев был болен и несчастен. Семипалатинское общество чиновников и офицерских жен перестало его принимать, местные власти были возмущены его пьяными речами и дерзкими выходками, кутежи и безалаберная жизнь привели его семью к долгам и нужде. Достоевский часто выговаривал ему, читал нотации, но это не помогало, и всё продолжалось попрежнему.

Жена Исаева, Марья Дмитриевна, у которой был от него семилетний сын Паша, очень страдала от создавшегося положения. Отец ее, Дмитрий Степанович Констант, начальник карантина в Астрахани, был, по всей вероятности, сыном французского дворянина, бежавшего в Россию, как и множество его сородичей, от ужасов революции и террора. Не следует придавать значения свидетельству дочери Достоевского, Любви,

которая, в числе прочих своих измышлений и фантазий, сообщает, будто отцом Марьи Дмитриевны был наполеоновский мамелюк, который де попал в плен в 1812 году, был отправлен в Астрахань и там пленил сердце какой-то купеческой девицы, вышедшей за него замуж и устроившей его в армию. Хотя Любовь признает, что «вид Марьи Дмитриевны не выдавал ее восточного происхождения», она не удерживается от замечания: «как все негрятянки, она была хитра». Сказка о происхождении Марьи Дмитриевны, как и многие другие небылицы на ее счет, имели одну совершенно определенную цель — опорочить Марию Дмитриевну и доказать, что она была интриганка и обманщица и что Достоевский не любил ее. Известно, что вторая жена писателя, Анна Григорьевна, тщательно вымарывала из его писем все те места, в которых он говорил о своей любви к Исаевой или хвалил ее. Эта ревность к прошлому, очевидно, передалась и дочери писателя, и она постаралась очернить Марию Дмитриевну.

Дочь полковника Константа получила хорошее по тому времени воспитание. В 1854 году ей было 28 или 29 лет (она родилась в 1825 или 1826 году).

«Довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная, — так рисует ее Врангель, — она была начитана, довольно образована, любознательна, и необыкновенно жива и впечатлительна». На сохранившемся дагеротипе эпохи ее волнистые светлые волосы разделены пробором посредине; рот несколько широк с выдающейся, чуть припухлой нижней губой, придающей всему лицу капризное выражение, глаза темные, глубокие, но небольшие. Страхов говорит, что черты ее были мелкие, но привлекательные, а на щеках играл нездоровый румянец. Вид у нее вообще был хрупкий и болезненный, и этим она порою напоминала Достоевскому его мать.

Нежность ее лица, физическая слабость и какая-то душевная беззащитность вызывали в нем желание помочь ей, оберегать ее, как ребенка. То сочетание детского и женского, которое всегда остро ударило по чувственности Достоевского, и сейчас возбудило в нем сложные переживания, в которых он не мог, да и не хотел, разобраться. Марья Дмитриевна сразу очаровала его и своими материнскими о нем заботами, и своей хрупкостью, пробуждавшей в нем физическое влечение. Кроме того, он восхищался ее тонкой и необыкновенной, как ему казалось, натурой.

Марья Дмитриевна была нервна, почти истерична, но Достоевский, особенно в начале их отношений, видел в изменчивости ее настроений, срывах голоса и легких слезах признак глубоких и возвышенных чувств. Когда он стал бывать у Исаевых, Марья Дмитриевна пожалела и приголубила странного своего гостя, хотя вряд ли отдавала себе отчет в его исключительности. Попросту, по-женски, ощутила она, что этот неуклюжий рядовой, который мог то часами сидеть, почти не говоря, то вдруг, зажегшись, произносить длиннейшие и не всегда понятные тирады, перенес больше, чем кто бы то ни было из людей ее круга — и быть его добрым гением, ощущать его молниеносную и благодарную реакцию на каждое доброе слово, на каждый участливый взор, было ей приятно и льстило ее сильно развитому самолюбию. Да и кроме того, она сама в этот момент нуждалась в поддержке: жизнь ее была тосклива и одинока, знакомств она поддерживать не могла из-за пьянства и выходок мужа, да на это не было и денег. И хотя она гордо и безропотно несла свой крест и добросовестно «исправляла должность служанки и ходила за мужем и сыном», ей часто хотелось пожаловаться, и излить свое наболевшее сердце. А Достоевский был прекрасным слушателем. Он был всегда под рукою, он отлично понимал ее обиды, он помогал ей переносить

с достоинством все ее несчастья — и он развлекал ее в этом болоте провинциальной скуки.

«Я не выходил из их дома. Что за счастливые вечера я проводил в ее обществе. Я редко встречал такую женщину», — писал он впоследствии. Муж предпочитал дому кабак или валялся на диване в полупьяном виде, и Марья Дмитриевна оказывалась наедине с Достоевским, который вскоре перестал скрывать свое обожание. Никогда, за всю его жизнь, не испытывал он подобной интимности с женщиной — и с женщиной из общества, образованной, с которой можно было разговаривать обо всём, что интересовало его. Впервые за долгие годы его не встречали насмешками, он не должен был бороться с соперниками, как в салоне Панаевой, он не ощущал себя приниженным, а мог быть на равной ноге с любимой.

Весьма возможно, что Марья Дмитриевна привязалась к Достоевскому, но влюблена в него ничуть не была, по крайней мере в начале, хотя и склонялась на его плечо и отвечала на его поцелуи. Он же в нее влюбился без памяти, и ее сострадание, расположение, участие и легкую игру от скуки и безнадежности принял за взаимное чувство. Ему шел 34-ый год — и он еще ни разу не имел ни возлюбленной, ни подруги. Он искал любви, любовь была ему необходима, и в Марье Дмитриевне его чувства нашли превосходный объект. Она была первой интересной молодой женщиной, которую он встретил после четырех лет каторги, и он оваял ее всеми чарами неудовлетворенных желаний, эротической фантазии и романтических иллюзий. Вся радость жизни воплотилась для него в этой худощавой блондинке. Она казалась ему и милой, и грациозной, и умной, и доброй, и желанной. И кроме того — она была несчастна, она страдала — а страдание не только привлекало его внимание, как писателя, но и поражало его воображение и вызывало в нем немедленный по-

рыв. Чувствительность к чужому горю странным образом повышала его эротическую возбудимость. Садистские и мазохистские влечения переплетались в Достоевском самым причудливым образом: любить — значило жертвовать собою и отзываться всей душой, всем телом на чужое страдание, хотя бы ценою собственных мук. Но порою любить — значило мучить самому, причинять страдание, больно ранить любимое существо. На этот раз высшее наслаждение было в жертве, в облегчении страданий той, ради кого он готов был решительно на всё.

Марья Димитриевна была женщина нелегкая: она быстро обижалась, от хлопот и дразг у нее делались частые мигрени, она прижимала пальцы к вискам в жесте отчаяния и безнадежности. Она постоянно раздражалась, говорила, что «поганое общество не ценит ее», называла себя «мученицей», и Достоевский ей поддакивал и немедленно с ней соглашался. Мужа она не любила или разлюбила, во всяком случае остатки чувств, которые у нее к нему оставались, были разрушены его нелепым поведением и пьянством, вызывавшим в ней горечь и отвращение. Все надежды свои она перенесла на сына Пашу, из которого, по ее мнению, должен был выйти замечательный человек. Но покамест семилетний мальчик никаких выдающихся качеств не обнаруживал. Хотя Марья Димитриевна могла сколько угодно говорить, что жизнь ее кончена, но ей еще не было и тридцати лет, и конечно, она хотела и жизни, и любви, и счастья, и удачи. То, что Достоевский воспылал к ней настоящей, глубокой страстью, она отлично понимала — женщины это обычно легко распознают — и его «ухаживания», как она их называла, она принимала охотно, не придавая им, однако, слишком большого значения: ведь исходили они от человека, лишённого прав, ссыльного, у которого, опять-таки по ее выражению, «не было будущего» — а были многочислен-

ные и порою пугающие странности. Но на него можно было положиться, и она не могла пренебречь даже и такой опорой.

После того, как рассеялся пьяный туман первой влюбленности, Достоевский довольно хорошо разобрался в тех особенных обстоятельствах, при которых зародилось его чувство к Марье Дмитриевне: «одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни», правдиво писал он впоследствии. Он еще яснее увидел все трудности своих отношений к замужней женщине, матери и жене, когда он получил возможность обсуждать их в бесконечных беседах со своим новым другом Врангелем.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Появление Врангеля в Семипалатинске зимою 1854 года показалось Достоевскому подарком судьбы. Несмотря на очень холодный и неприступный вид, который весьма помогал ему в административной карьере, молодой прокурор, посвящавший немало времени своим пышным рыжеватым бакенбардам, был очень добрый и отзывчивый человек, да еще к тому же и с романтическим воображением. Через год после знакомства, перешедшего в тесную дружбу, быть может, единственную в жизни Достоевского (он был с ним в разговорах и письмах более откровенен, чем с кем бы то ни было — и это на протяжении многих лет), Федор Михайлович так характеризовал его в письме к брату:

«Это человек очень молодой, очень кроткий, хотя с сильно развитым *point d'honneur*, до невероятности добрый, немножко гордый (но это снаружи, я это люблю), немножко с юношескими недостатками, образован, но не блистательно и не глубоко, любит учиться, характер очень слабый, женски впечатлительный, ипохондрический и довольно мнительный, что другого злит и бесит, то его огорчает, признак превосходного сердца».

К этому надо еще прибавить, что он искренно привязался к Достоевскому и немедленно после приезда начал помогать ему со всем пылом юношеского идеализма. Он познакомил его с военным губернато-

ром П. М. Спиридоновым, и с этого момента бывшего ссыльного стали принимать в домах всех именитых граждан Семипалатинска. Это сильно подняло социальный престиж Достоевского; скоро он был произведен в унтер-офицеры, и условия жизни его значительно улучшились — у него теперь было и больше свободного времени, и возможность распоряжаться им по собственному усмотрению. С Врангелем Достоевский мог говорить совершенно открыто, а когда барон в свою очередь влюбился в одну замужнюю даму, мать нескольких детей, жившую в Барнауле и немилосердно с ним кокетничавшую, разговоры их превратились в обмен сердечных тайн. Молодой прокурор терпеливо выслушивал восторженные речи Достоевского о Марье Димитриевне: «она добра, мила, грациозна, с превосходным великодушным сердцем, — говорил Достоевский, — она хорошенькая, образованная, очень умная». Врангель не только был другом и конфидентом, но и оказывал деятельную помощь Достоевскому. Ему нравилось играть роль во всех перипетиях этой любовной истории, в которой, что ни день, появлялись новые осложнения.

В начале 1855 года Марья Димитриевна, наконец, ответила на любовь Достоевского. Был ли это попросту момент случайной близости или же отношения их превратились в настоящую связь — сказать трудно. Во всяком случае — произошло сближение. Но как раз в те дни, когда Достоевский уверовал во взаимное чувство Марьи Димитриевны и, как он писал, «получил от нее доказательства ее любви», Исаева назначили заседателем в Кузнецк, за шестьсот верст от Семипалатинска. Это означало разлуку — быть может навсегда. В довершение всего, именно Достоевский должен был доставать денег на отъезд: у Исаева не было ни копейки, и обратился он, естественно, к лучшему другу семьи. А у Достоевского своих денег не было: он занял

всё у того же Врангеля и передал нужную сумму Марье Дмитриевне.

Весной 1855 Врангель снял дачу Козакова в окрестностях Семипалатинска, и, так как батальон Достоевского был переведен неподалеку на летние квартиры, унтер офицеру удавалось по целым неделям жить у гостеприимного друга. Когда Исаевы двинулись в путь в июне 1855 года, они остановились попрощаться на даче у Врангеля. Было подано шампанское, и Врангелю не составило особого труда напоить Исаева и устроить его на мирный сон в карете. Между тем Достоевский и Марья Дмитриевна отправились в сад. По свидетельству Врангеля, молодая женщина к моменту отъезда уже и сама была захвачена своим чувством к Достоевскому. Влюбленные «обнимались и ворковали», держали руки друг у друга, усевшись на скамейке, под тенистыми деревьями. Но почтовый ямщик настаивал, чтобы господа, наконец, пустились в дорогу. Надо было уезжать. Достоевский со слезами на глазах проводил Марью Дмитриевну к тарантасу, в котором храпел Исаев. Последнее объятие, ямщик взмахнул кнутом, кони рванулись — уже и тарантас скрылся в белом клубе пыли, а Достоевский всё стоял и смотрел ему вслед, на дорогу, исчезавшую среди сосен.

Видя тяжелое настроение друга, Врангель всячески старался развлечь его. На даче был огромный сад, и устраивать его поручили двум красивым дочкам квартирной хозяйки Достоевского: молодые разбитные девушки вносили немало смеха и веселья — а может быть и больше того — в дом молодого прокурора и его сумрачного приятеля. Весть о цветах, разводимых в Козаковом саде, распространилась по Семипалатинску, и Врангеля стали навещать местные модницы, которых он не очень-то жаловал. Достоевский помогал ему отводить их от дому. Он очень тосковал, глядел как мальчик на скамейку, на которой прощался с Марьей Ди-

митриевой, и что-то бормотал себе под нос: у него была привычка вслух разговаривать с самим собой. По словам Врангеля, он был в восторге от Исаевой, всё повторял, какая она замечательная, и удивлялся, что такая женщина ответила на его любовь. Он едва ли считал себя достойным ее внимания. Он всё писал ей письма, хотя и должен был сдерживать себя из-за мужа:

«Судя по тому, как мне тяжело без вас, — пишет он ей чуть ли не на другой день после ее отъезда, — я сужу о силе моей привязанности. Вы писали, что вы расстроены и даже больны. Я за вас в ужаснейшем страхе. Боже мой! Да достойна ли вас эта участь, эти хлопоты, эти дразги, вас, которая может служить украшением всякого общества. Вы удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты, вы были мне, как родная сестра. Женское сердце, женское участие, бесконечная доброта... я всё это нашел в вас... Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда».

Он, действительно, очень тосковал, и не обращал внимания на кокетничанье молоденькой и хорошенькой Марины О., дочери ссыльного поляка, которой он давал уроки. Ученица — девушка живая, энергичная и несколько сумасбродная, была равнодушна к своему учителю, особенно когда узнала, что у него роман с другой женщиной. Марья Димитриевна была осведомлена о Марине и сильно к ней ревновала.

Когда настроение у Достоевского улучшилось, он декламировал — он любил читать вслух, особенно поэмы Пушкина, — помогал девушкам по саду или вел нескончаемые беседы с Врангелем. Об его любви прослышало уже несколько человек из его знакомых, и они решили оказать ему содействие и устроить тайное свидание с Марьей Димитриевой где-нибудь между Семипалатинском и Кузнецком. Так как Достоевский

сильно рисковал, выезжая из города без разрешения начальства (он всё ещё был под наблюдением полиции, письма к нему перлюстрировались, а его шли адресатам в Россию через третье отделение), то был устроен целый заговор. Достоевский сказался больным, знакомый доктор подтвердил, что ему надо отлежаться, а между тем мнимый пациент мчался на лошадях, предоставленных друзьями (не тем же ли Врангелем?) в Змиев за 160 верст от Семипалатинска. Но там, вместо Марьи Димитриевны, нашел он ее письмо с извещением, что в виду изменившихся обстоятельств ей не удалось отлучиться из Кузнецка. Достоевский, даже не отдохнув, тотчас же пустился в обратный путь. «Изменившиеся обстоятельства» была болезнь Исаева. В конце июля состояние его сделалось безнадежным. Он умер через две недели. Достоевский узнал об этом 14 августа из письма Марьи Димитриевны, которая рассказывала, как муж благословил ее и сына перед христианской своей кончиной, и описывала всё происшедшее, равно как и свое собственное душевное состояние в довольно шаблонных и риторичных выражениях. Она осталась без средств и не знала, что ей делать. Достоевский немедленно выслал ей 25 рублей — всё, что было у него — и обратился к Врангелю, находившемуся в это время по делам службы в Барнауле. Он заклинал приятеля всеми святыми, умоляя оказать финансовую помощь несчастной вдове. Положение Марьи Димитриевны, действительно, было критическое. Она оказалась в чужом, незнакомом ей Кузнецке одна, без средств, без родных и знакомых, с маленьким сыном на руках. Смерть Исаева, с другой стороны, сильно меняло положение Достоевского. Ему не надо было больше скрывать своей любви. Он тотчас же предложил Марье Димитриевне выйти за него замуж. Им руководило не только желание помочь ей, урегулировать их отношения, и чувство страстной любви —

«Боже мой, что за женщина, как жаль, что вы ее так мало знаете», — писал он Врангелю, — но и сильная тяга к брачной жизни. «Нет ничего на свете выше счастья семейного», — писал он брату по выходе из каторжной тюрьмы. Семейная жизнь его родителей представлялась ему незамутненной и счастливой, а детство было лучшим и чистым его воспоминанием. Семья казалась ему возвратом в эту золотую детскую пору, которую он, после всех своих испытаний и несчастий, охотно идеализировал. Кроме того, у него с 17 лет не было своего угла, он мечтал о браке, как о тихой пристани, о домашнем уюте, женской заботе. Брак с Марьей Димитриевной — брак по горячей, подлинной любви — разрешал все вопросы и устраивал и материальную, и сентиментальную, и эротическую стороны существования.

Марья Димитриевна, конечно, на всё это смотрела иначе. В ответ на пылкие письма возлюбленного, который настаивал на окончательном и немедленном решении, она писала, что грустит, отчаивается и не знает, как ей поступить. Достоевский понимал, что главным препятствием к «устройству нашей судьбы», как она называла проект их брака, была его личная неустроенность.

Социальное положение Достоевского было незавидное: унтер-офицер Линейного батальона, бывший каторжник, лишенный дворянства, состоящий под надзором полиции и на подозрении начальства. Впереди — еще три года военной службы, а затем полная неизвестность. О писательском его таланте Марья Димитриевна хорошо судить не могла, никаких новых произведений его не видела, а успех «Бедных людей» имел десятилетнюю давность. Никто не мог с уверенностью сказать, разрешат ли ему когда-нибудь печататься. Доступ в Европейскую Россию был ему покамест закрыт. Средств у него не было: родные посылали ему

немного денег, на которые он и существовал. Как же мог он завести семью? Правда, после смерти Николая I и восшествия на престол Александра II, появилась надежда на улучшение участи бывших петрашевцев. Достоевский слал множество писем родным и знакомым с просьбами похлопотать о разрешении печататься и производстве в офицерский чин. Порою, когда он общал Марье Димитриевне о своих попытках «победить судьбу», она воодушевлялась и готова была ответить согласием на брак, но потом снова теряла веру. Настроения ее не отличались устойчивостью. Отец посылал ей деньги из Астрахани, и она могла кое-как перебиваться в ожидании скромной пенсии, полагавшейся вдове чиновника Исаева. Но она постоянно болела, недомогания — предвестие чахотки — делали ее раздражительной, она донимала Достоевского подозрениями и ревностью. Почему должна была она верить ему после десяти месяцев разлуки? Быть может, он завел шашни с Мариной или спал с дочерью своей квартирной хозяйки! А все эти купеческие дочери, которым он давал уроки математики, наверное, пытались вскружить ему голову.

И Марья Димитриевна решается «испытать» его любовь. В самом конце 1855 года Достоевский получает от нее странное письмо. Она спрашивает его дружеского беспристрастного совета: «Если бы нашелся человек пожилой, и обеспеченный, и добрый, и сделал ей предложение»... Прочитав эти строки, Достоевский зашатался и упал в обморок. Когда он очнулся, он с отчаянием сказал себе, что Марья Димитриевна собирается выйти замуж за другого. В этом предположении не было ничего невозможного. Достоевскому окольными путями стало известно, что кузнецкие кумушки разрывались на части в поисках «положительного человека и хорошего жениха» для бедной вдовы. Правда, в том же письме Марья Димитриевна заверяла Досто-

евского в своей к нему любви, но он принял ее слова, как свидетельство ее доброты, как желание его утешить.

Нервы его были так напряжены из-за долгой разлуки, из-за неизвестности, что мысль о возможности потерять Марью Димитриевну совершенно сразила его. Проведя целую ночь в рыданиях и муках, он на утро написал Марье Димитриевне, что умрет, если она оставит его. «Велика радость любви, — писал он Врангелю об этом эпизоде, — но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить. Клянусь вам, что я пришел в отчаяние. Едва понимаю, что мне говорят и как я живу. Неподвижная идея в моей голове». Незадолго до этого он начал «комический роман», «Село Степанчиково», но работа теперь не идет: «одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и, наконец, посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив и не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня. Я потерял то, что составляло для меня всё. Сотни верст разделяли меня. Я не мог писать» (письмо А. Майкову, январь 1856 г.).

Нерешительность Марьи Димитриевны, сводившая с ума Достоевского и питавшая самые чудовищные его сомнения, происходила от разных причин: она не была уверена в самой себе, она колебалась по практическим соображениям, а, кроме того, ей доставляло удовольствие испытывать свою власть над влюбленным в нее мужчиной — и таким образом подлинные чувства соединялись тут с игрой.

Для Достоевского же никакой игры быть не могло. Он любил со всей силой запоздалой первой любви, со всем пылом новизны, со всей страстью и волнением игрока, поставившего состояние на одну карту. По ночам его мучили кошмары и теснили слезы. Ожидание письма из Кузнецка было пыткой, а его долгожданный приход — либо разочарованием либо взрывом новых со-

мнений и подозрений. Он знал, что она слаба и доверчива и опасался чужого влияния: «ее можно уверить в чем угодно». Он знал также, что она «раздражительна и развита сердцем» — это означало ее способность поддаться чьим-либо ухаживаниям. Все видели в ней одну слабость и нежность: он же знал ее такой, какой другие никогда ее не видали. Это о ней писал он впоследствии в «Униженных и оскорбленных»:

«Сердце мое защемило тоской, когда я разглядел эти впалые бледные щеки, губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных темных ресниц горячечным огнем и какой-то страстной решимостью».

Но, может быть, еще кто-либо сумел зажечь в ней этот горячечный огонь? Он был ревнив, и еще во время пребывания в Семипалатинске докучал ей выговорами по поводу каждого взгляда, брошенного на мужчину. Но ревность мнительной и болезненной Марьи Дмитриевны была еще острее. Она подозревала его в тайной связи с каждой встречной женщиной. На масленицу 1856 года Достоевского часто приглашали на блины, он танцевал с дамами (несмотря на некоторую неуклюжесть, он был отличным танцором и любил танцы). Он сам написал ей об этих невинных развлечениях, но она возомнила Бог весть что и решила отомстить ему. Опять в ее письмах появились намеки об искателях ее руки и тайных воздыхателях. Эта трагикомедия ошибок продолжалась до апреля, когда Марья Дмитриевна пришлось отчасти признаться в ее игре. Кузнецкие дамы предложили ей жениха, она заявила им, что у нее уже есть один на примете. Эти слова дошли до Федора Михайловича и снова привели его в отчаяние: оказалось, что, говоря о «человеке на примете», Марья Дмитриевна имела в виду именно его. Но всё же от мифа о выходе замуж за пожилого и богатого, она окончательно не отказалась, и когда писала Достоевскому о своей

горячей к нему любви, не забывала упомянуть: «а жених — это только расчет». Достоевский, в конце концов, пришел к заключению, что Марья Димитриевна, по слабости, находилась в том же положении, что и героиня его «Бедных людей», Варвара, которая решила выйти за «степного помещика» Быкова, чтобы избежать нужды и не погубить Макара Девушкина. «Напророчил же я себе», — восклицает Достоевский. Но у Варвары не было семьи, а Марья Димитриевна должна была думать о сыне. Несомненно, что ей было не легко, хотя Достоевский и преувеличивал ее стесненные обстоятельства, когда писал Врангелю, что у нее нет ни копейки, и повсюду занимал, чтобы выслать ей денежный перевод. Тотчас же после смерти Исаева Константин прислал дочери 300 рублей, сумму, по тому времени немалую, а затем регулярно ей помогал: Достоевский должен был потом признать, что «она ни в чем не нуждалась».

Его личные дела были гораздо хуже: хроническое безденежье, нищенская обстановка дома, подчиненное положение на службе. Самым мучительным было то, что он жил, главным образом, надеждами, но постоянно опасался какой-нибудь неудачи, которая лишит его Марьи Димитриевны. В письмах к Врангелю, который в это время уехал в Петербург и в свою очередь страдал от любви к своей барнаульской даме (Е. И. Гернгросс), он восклицал: «Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш». А для того, чтобы окончательно завоевать ее, ему необходимо было обеспечить себе такое «внешнее устройство», при котором не оказались бы опасны никакие кузнецкие женихи со средствами. Это устройство составляло предмет его дум и тему всех его писем: программа минимум была переход из военной службы в штатскую, что предполагало место с жалованьем, и некоторое количество денег, чтобы прожить до назначения. Достоев-

ский теперь мечтал стать чиновником 14 класса, т. е. одним из тех мелких канцеляристов, каких он вывел в «Бедных людях» и «Двойнике». Конечно, самое лучшее было бы получить разрешение печататься: «тогда всё устроится, ведь, главное, никто не знает ни сил моих, ни степени таланта, а на это-то главное и надеюсь». В этой фразе Достоевский проговорился: чиновничьей службы мог он желать лишь в дни отчаяния и безнадежности: на самом деле было у него лишь одно неодолимое стремление — печататься, зарабатывать на жизнь литературой, вновь взять в руки перо, то самое перо, которое отняли у него при заключении в крепость в 1849 году, которое не давали ему на каторге, которое, через пять лет, мог он с трудом получить, будучи солдатом в сибирском захолустном гарнизоне. И только, когда осуществление этой заветной надежды, казалось, чересчур отдаленным, был он готов, ради соединения с любимой женщиной, сделаться сам Макаром Деушкиным, чиновником 14 класса. «Не сейчас же я женюсь, а выжду чего-нибудь обеспеченного, она же с радостью подождет, только бы имела надежду на верное устройство судьбы моей». И одно за другим летят письма из Семипалатинска в Петербург, к генералу Тотлебену, к Врангелю, к сановникам, к знакомым, к родным. Как всегда, он сочиняет самые фантастические проекты: не написать ли ее отцу, чтобы отвадил женихов, не послать ли прошение Государю, не обратиться ли к генералам, которые знали его в Инженерном Училище? Он мечется и по своему обыкновению волнуется, преувеличивает; житейские мелочи в его воображении принимают пугающие очертания, препятствия обращаются в кошмары. Писание тоже причиняет не мало забот: оно подвигается с большим трудом.

Выйдя из каторги, Достоевский почти не мог писать: стихи, которые он сочинил в мае 1854 года, «На Европейские события в 1854 году», имели явную цель

— доказать его патриотические и верноподданнические чувства: он громит французов и англичан, выступающих на защиту турок против Христа, и славит русского царя, Божьего помазанника и защитника веры. Литературная ценность их была ничтожна. Затем, уже после отъезда Исаевой, он принялся, наконец, за прозу — и должен был долго преодолевать ту негибкость, почти одеревяненность, какую знают все писатели, художники, артисты после длительного перерыва в работе. Он медленно возвращался к тому самому исходному положению, в котором застала его катастрофа семь лет тому назад.

В мае 1856 года в письмах Марьи Димитриевны вновь зазвучали тревожные ноты. То она пишет, что грустит и тоскует, то вдруг заявляет: «мы слишком много страдали, слишком несчастны, чтобы мечтать о браке», она не составит его счастья, лучше обо всем позабыть, ото всего отказаться. Единственное, о чем она его просит, это похлопотать о Паше, ему уже идет девятый год, его надо определить в какое-нибудь закрытое учебное заведение.

Измученный всей этой перепиской с ее чередованием холода и жара, Достоевский решается на крайний шаг: необходимо личное свидание с Марьей Димитриевной, надо выяснить всё и переговорить с глазу на глаз. И значит надо ехать в Кузнецк.

После долгих хлопот и всяческих ухищрений, Достоевскому удалось заручиться помощью батальонного командира, знавшего обо всех его любовных треволнениях. Унтер-офицер Достоевский получил служебное поручение отвезти в Барнаул фургон с веревками. А от Барнаула до Кузнецка не слишком далеко. И Достоевский пустился в дорогу с надеждой через несколько дней увидеть и обнять Марью Димитриевну.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Достоевский тайно уехал из Барнаула в Кузнецк, мечтая, что свидание с женщиной, на которую, по его собственному выражению, он «имел права», разрешит все сомнения и трудности. Но вместо радостной встречи в Кузнецке его ждал страшный удар. Он вошел в комнату к Марье Дмитриевне, и она не бросилась ему на шею: с плачем целуя его руки, она закричала, что всё потеряно, что брака быть не может — она должна признаться во всём: она полюбила другого. Этот другой, Николай Борисович Вергунов, родом из Иркутска, учитель начальной школы, был довольно красивый 24-х летний молодой человек, и Марья Дмитриевна увлеклась им физически, и даже подумывала о том, чтобы выйти за него замуж. Достоевский выслушал ее рассказ, стиснув руками голову, потом заметил, что Вергунов когда-нибудь попрекнет ее за то, что она хотела только сладострастия и заела ему век. Марья Дмитриевна сперва приписала эти слова ревности, но потом задумалась и опять начала плакать. Она теперь не верила ни в чью любовь. Напрасно Достоевский в долгой беседе пытался понять ее истинные чувства и определить отношения между нею и Вергуновым: несвязный разговор этот, вероятно, был похож на тот, который он затем описал в «Униженных и оскорбленных», между Ваней и Наташей:

«Не уважаешь, не веришь даже в любовь его, и идешь к нему без возврата, и всех для него губишь. Что

же это такое? Измучает он тебя на всю жизнь, да и ты его тоже».

«Да, люблю, как сумасшедшая, — отвечала она, побледнев, как будто от боли. — Я тебя никогда так не любила, Ваня. Я ведь и сама знаю, что с ума сошла и не так люблю, как надо. Нехорошо я люблю его... Я ведь и прежде знала и в самые счастливые минуты наши предчувствовала, что он даст мне одни только муки».

Вместо мнимого «солидного» жениха, за которого Марья Дмитриевна якобы готова была выйти «по расчету», Достоевский нашел в Кузнецке счастливого соперника, бывшего едва ли не беднее его самого. Он опасался повторения ситуации «Бедных людей», а в действительности ему грозила ситуация «Белых ночей» — или даже хуже. Марья Дмитриевна настаивала на его встрече с Вергуновым: «с ним я сошелся, он плакал у меня, но он только и умеет плакать», с горечью заметил Достоевский. Быть может он ощутил к нему то же чувство, что и герой «Униженных и оскорбленных» к возлюбленному Наташи: «он был слаб, доверчив и робок сердцем, воли у него не было никакой. Обидеть, обмануть его было бы и грешно и жалко». Чтоб не обижать Вергунова, Достоевский скрыл свои собственные переживания и спокойно рассуждал о шансах возможного брака Марьи Дмитриевны с молодым учителем. Ему приходилось взвешивать свои слова и пускаться на мелкие хитрости: «я знал свое ложное положение, — пишет он Врангелю, — ибо начни я отсоветовать, представлять им будущее, оба скажут — для себя старается, нарочно изобретает ужасы в будущем». Но что бы он ни говорил Марье Дмитриевне, он прекрасно понимал, что она чувствовала себя госпожей и владычицей по отношению к новому другу — а он был ее жертвой.

«Она предвкушала наслаждение любить без памя-

ти и мучить до боли того, кого любишь, и именно за то, что любишь, и потому то, может быть, поспешила отдаться ему в жертву первая».

Эти слова о Наташе из «Униженных и оскорбленных» вполне применимы к Марье Димитриевне и к ее отношениям с Вергуновым и, как это ни странно, с Достоевским. Она и мучила их обоих, и сама из-за них мучилась, и в этом соединении морального и любовного садизма и мазохизма находила особое наслаждение. И это ее болезненное, сложное ощущение перекликалось с такими же тенденциями Достоевского. Ему было тяжело, мучительно, и самая острота его страдания вызывала холодок восторга. Напряженность, необычность обстоятельств, слезы и страсть, обида и желание — всё это соединялось в невыразимо жгучее ощущение интенсивности бытия. Моментами ему казалось, что он теперь любит ее больше прежнего — за ее измену, за мучительство, за оскорбление.

Его охватывало неодолимое стремление всё отдать Марье Димитриевне, пожертвовать своей любовью ради ее нового чувства, уйти, и не мешать ей устраивать жизнь, как ей хочется.

Когда Марья Димитриевна увидела, что Достоевский не упрекает ее, а только заботится о ее будущем, она была потрясена, как Наташа, которая говорит Ване: «добрый, честный ты человек! И ни слова-то о себе! Я же тебя оставила первая, а ты всё прости, только о моем счастье и думаешь». Но Достоевскому не пришлось долго страдать в позе мученика, и добровольной жертвы его Марья Димитриевна не приняла. «Не плачь, не грусти, не всё еще потеряно, ты и я и более никто», — сказала она, видя его страдания. В самый критический момент в ней снова вспыхнули жалость и нежность к Достоевскому. «Она вспомнила прошлое, и сердце ее вновь обратилось ко мне», — этими словами он опи-

сывал поворот в ее настроениях. Когда он менее всего ждал этого, она бросилась в его объятия и вознаградила его за всё, что он претерпел. «Я провел не знаю какие два дня, — писал он Врангелю, — это было блаженство и мученье нестерпимое». Передалась ли ей страсть Достоевского, была ли она захвачена возвратом собственного чувства, попала ли в путы сложной своей игры или не захотела отказаться от владычества над обоими мужчинами — всё равно какой ценой — но несомненно, что она снова сблизилась с Достоевским, и он мог сказать: «к концу второго дня я уехал с *полной* надеждой». Он сам подчеркнул это слово. Но несмотря на «доказательства любви», как он выражался, он сознавал трудность собственного положения. Прежние иллюзии его рухнули, Марья Дмитриевна предстала ему в новом обличи, и вместо недавней ясности чувств, в душе его ныне царил полный хаос. Когда он выехал из Кузнецка и опьянение недавней близостью выветрилось в дороге, он подумал, что, согласно французской поговорке, «отсутствующие всегда неправы»: «я далеко, а он с ней». Как бы ни были горячи недавние поцелуи Марьи Дмитриевны, на верность ее рассчитывать нельзя было. Да и кто мог поручиться, что после отъезда Достоевского она не начнет колебаться и не вернется к молодому любовнику?

Не успел Достоевский возвратиться в Семипалатинск и придти в себя от физической и душевной встряски, как получилось письмо от Марьи Дмитриевны: она тосковала, плакала, опять говорила, что любит Вергунова больше, чем Достоевского. Измученный и униженный, он забыл о своей дипломатии и написал и ей и ему, уговаривая обоих посмотреть на всё холодно и здраво: ведь их совместная жизнь, а тем более брак, были бы безумием. Марья Дмитриевна промолчала, а Вергунов обиделся и ответил грубой бранью. Это не помешало Достоевскому начать хлопоты по

устройству его на лучшее место: ведь как ни как, учитель мог вскоре стать мужем Марьи Димитриевны, а ее благополучие было ему дороже всего на свете. Он победил ревность и горечь, он поступил как Дон Кихот, принося самозабвенную жертву. Но страдал он от этого собственного благородства невыносимо. Идея брака Марьи Димитриевны по расчету, ради денег оскорбляла его нравственное чувство, вызывала возмущение против несправедливости, против «злой доли бедных». А мысль о том, что она собиралась выйти за бедняка была по самолюбию, ранила его мужскую гордость. Ведь тут он и Вергунов были равны, оба в одинаковой степени не имели средств, чтобы содержать семью. Но 24-летний учитель и в будущем не мог ни на что рассчитывать, кроме грошевого жалованья. Он был мало образован и карьера ему предстояла самая ничтожная, всё в тех же начальных школах. А ведь Достоевский был писателем, он некогда достиг известности, и теперь, в одинокие ночи, верил в свое великое призвание. Значит Марья Димитриевна предпочла ему Вергунова исключительно по любви. Речь шла о сентиментах в чистом виде. Почему же та, кого он избрал, кому отдал сердце, не разделяла его веры, не видела, что слава ждет его, не поставила на него? А это самое обидное для мужчины — знать, что для любимой он попросту один из многих и что она ничего не прочла на челе его. Очень многое в последующей жизни Достоевского объясняется этой обидой: ее редко прощают даже обыкновенные таланты.

Но сейчас обиду надо было проглотить: иного выхода у него не было.

«Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в каком случае, — объяснял он Врангелю. — Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в десять месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости». Справиться с этой

«нелепостью» не было уж сил — и воспоминание о прежней, хотя и минутной близости, растравляло и кровь и воображение: он всё повторяет и о «доказательствах» ее любви, и о своих «правах» на нее. Но от жгучих воспоминаний не становилось легче: все заметили, что Достоевский совсем извелся. На смотрах и военных учениях он ходил как тень, знакомые опасались, что он свалится с ног. Нервное напряжение разрядилось припадком, и после него он оставался больным целую неделю. А к страданиям душевным и физическим прибавились еще и заботы материальные: поездка в Барнаул и помощь Марье Димитриевне (он постоянно посылал ей деньги) привели к тому, что у него накопилось свыше тысячи рублей долга. Заплатить их было неоткуда, повсюду натыкался он на высокую, немолимую стену, и вся жизнь представлялась ему не то блужданием по кругам Дантовского ада, не то диким видением больного мозга.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В тот самый момент, когда Достоевскому казалось, что он коснулся дна и дошел до предела унижений и горя, в существовании его стал медленно намечаться поворот к лучшему. Черная серия неудач завершилась, и впереди обозначились просветы. Первого октября 1856 года он был произведен в прапорщики — первый офицерский чин, и это означало, что он вновь возвращается в тот самый привилегированный класс, вне которого в России было так трудно жить. Кроме того, усилились надежды на помилование — а значит и на возвращение в Россию. Под влиянием этих обстоятельств или по изменчивости характера Марья Димитриевна заметно охладела к Вергунову. Вопрос о браке с ним как-то сам собой исчез, и она написала Достоевскому, что он «материально невозможен» (Вергунов зарабатывал 300 рублей в год). В письмах к Достоевскому она не скупилась на нежности, называла его братом, говорила, что тоскует по нем. А он в ноябре 1856 г. писал: «она попрежнему всё в моей жизни, люблю ее до безумия... разлука с ней довела бы меня до самоубийства... Я несчастный сумасшедший. Любовь в таком виде есть болезнь». Он пытается дать разумное объяснение своему состоянию: «она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу, всё мое существование». Услыхав, что Вергунов в опале, он воспрял духом и снова поставил ребром вопрос о своем браке с Марьей Димитриевной. Когда

опять представилась возможность поездки в Барнаул, на этот раз в лучших условиях, потому что он был уже офицером, он помчался в Кузнецк, но теперь остался там не два, а пять дней. Его ждал прием, сильно отличавшийся от того, какой был ему оказан пять месяцев тому назад. Марья Дмитриевна заявила, что раз-уверилась в новой привязанности и никого, кроме Достоевского, по-настоящему не любит. Перед отъездом он получил ее формальное согласие выйти за него замуж в самом ближайшем будущем. В письме Врангелю от 21 декабря 1856 он писал: «если не помешает одно обстоятельство, я до масленицы женюсь». Что это было за обстоятельство — и к кому оно относилось? К Вергунову, неохотно отказавшемуся от своей возлюбленной, к Достоевскому, опасавшемуся новых осложнений, или к Марье Дмитриевне, способной опять переменить решение? Как бы то ни было, Достоевский официально считает себя женихом. Он добился своего, мечта его, наконец должна была осуществиться. Но в этот момент испытывал он не восторг, а усталость и апатию. Для каждого часа имеется свой закон, и хорошо только то, что приходит во-время. То, что запаздывает, часто теряет свою цену, и дар, который наполнил бы пьяной радостью вчера, уже не веселит сегодня. Как бегун на трудном состязании, Достоевский очутился у цели, настолько изможденный усилием, что принял победу почти с равнодушием.

Никаких восклицаний и энтузиазма по поводу близкого брака в его переписке нет: есть трезвые слова о деньгах и устройстве. Для свадьбы необходимо было по крайней мере 600 рублей, и их пришлось взять в долг у одного из семипалатинских знакомых.

Что побудило Марью Дмитриевну в конце концов согласиться на брак? Дочь Достоевского, а с ее легкой руки и некоторые биографы, хотя и не столь

категорически, как она, утверждают, что Марья Дмитриевна вышла замуж за Достоевского не любя, по расчету. Ее выставляют хитрой комбинаторшей, которая имела в виду лишь собственную материальную выгоду, водила за нос наивного и простосердечного обожателя, а между тем исподтишка продолжала связь с Вергуновым, якобы следовавшим за ней по пятам, из города в город. Все эти обвинения не вяжутся с тем образом Марьи Дмитриевны, какой ее видел не только сам Достоевский, но и его ближайшие друзья: строить планы и рыть мины было совсем не в ее характере. Наоборот, она не способна была к длительному усилию, к упорной работе для достижения раз поставленной цели, и всегда действовала по наитию, порывисто, по капризу случайного настроения. Что она могла счесть брак с Достоевским наилучшим выходом из тяжелого положения — весьма возможно. После свадьбы она пишет и его и своим родным, что теперь спокойна за будущее Паши — этим намекая, что пошла замуж ради сына. Но для чего ей было интриговать или завлекать Достоевского в свои сети, когда он сам с восторгом шел в них, постоянно говорил о своей страстной и нежной любви и заклинал ее соединиться с ним навеки.

Он, во всяком случае, считал, что она идет за него по любви и не сомневался в ее преданности и привязанности. «Она меня любит и доказала это», — писал он Врангелю. Брак казался ему естественным завершением того, что было между ними: «отношения с Марьей Дмитриевной занимали всего меня в последние два года. По крайней мере жил, хоть страдал, но жил». Он понимал, однако, что жить всё время в подобном напряжении было невозможно, и брак рисовался ему как успокоение, как начало того семейного счастья, о котором он так мечтал.

В начале 1857 года всё было сговорено, он взял в долг нужную сумму денег, снял помещение, получил

разрешение начальства и отпуск для женитьбы. В конце января он выехал в Кузнецк. Там всё было готово для «тихой» свадьбы, и 6-го февраля Марья Дмитриевна и Федор Михайлович были обвенчаны в Кузнецкой церкви, где сохранилась запись об этом браке. Тотчас после церковного обряда молодожены сели в тарантас и поехали в Барнаул: там должны были они провести вместе первую ночь. Но когда они очутились в доме барнаульских знакомых, в котором предполагали прожить несколько дней, с Достоевским произошел страшный припадок падучей. С помертвевшим лицом и диким стоном он вдруг упал на пол в ужасающих конвульсиях и лишился сознания. Придя в себя, он был так слаб, что мог едва говорить и двигаться. Марья Дмитриевна до того перепугалась, что сама едва не упала в обморок. Припадок Достоевского произвел на нее потрясающее впечатление. Позвали докторов, но их диагноз не только не внес успокоения, но даже усилил общую панику: они заявили, что у Достоевского эпилепсия и предупредили, что во время подобного припадка он может умереть от горловой спазмы. Марья Дмитриевна зарыдала и начала упрекать мужа за то, что он утаил от нее свой недуг.

Достоевский оправдывался, уверяя, что и сам не знал в точности характера болезни. Действительно, до тех пор он полагал, что припадки его «хотя и похожи на падучую, но, однако же, не падучая». Так писал он брату по выходе из каторжной тюрьмы, так говорил друзьям и знакомым, осведомленным об его недуге. То же самое, еще до ареста, утверждал и его врач Яновский. Но сейчас уже не могло быть никаких сомнений, и слова докторов прозвучали грозным предупреждением. Да и как начало брачного сожителства эпилептический припадок едва ли следовало считать хорошим предзнаменованием.

Когда состояние Достоевского несколько улучши-

лось, молодые двинулись в путь. Она — разочарованная, измученная всем пережитым, он — обессиленный, как всегда после припадка, подавленный и угрюмый.

«Если бы я наверно знал, что у меня настоящая падучая, — писал он вскоре после этого, — я бы не женился. В Семипалатинск я привез жену захворавшую».

То, о чем он не писал, имело гораздо большее значение. Припадок в Барнауле произошел, вероятно, в тот самый момент, когда молодожены остались одни. Он, конечно, вызвал ряд потрясений и даже травматических последствий в чисто половой области. Быть может, здесь-то и надо искать разгадки, почему брак Достоевского с Марьей Дмитриевной оказался неудачен прежде всего со стороны физической.

В Семипалатинск Достоевские приехали 20 февраля 1857 г., и принялись устраиваться в маленькой и бедно обставленной квартире. Когда Достоевский окончательно оправился от того, что «сокрушило меня и физически и нравственно», он попытался наладить супружеские отношения. Но физическая близость не дала того счастья и забвения, о котором он мечтал. Оба были нервны и больны, у Достоевского было чувство вины, сменявшееся взрывами страсти, бурной, конвульсивной и нездоровой, на которые Марья Дмитриевна отвечала или испугом, или холодностью. И в то же время она сама отличалась истерической чувствительностью, и настроения и желания их почти никогда не совпадали. Если бы Достоевскому попалась простая и уравновешенная женщина, которая способна была успокоить его сомнения, возродить в нем веру в свои силы, найти здоровый выход его повышенной сексуальности и этим уменьшить его комплексы мазохизма и садизма, их брачные отношения могли бы постепенно достичь какого-то равновесия чувств и чувственности. Но в той напряженной, нервной обстановке, которую

создавала Марья Дмитриевна, еще острее выступали патологические черты ее мужа. Оба раздражали, изматывали и истязали друг друга в постоянной борьбе, нападки сменялись у них раскаянием и самобичеванием, уверения в бесконечной любви превращались в бесплодный поединок тел, неудовлетворенность плоти отравляла и кровь и душу. Вместо медового месяца на их долю пали разочарование, боль и утомительные попытки добиться ускользящей и никак не дающейся половой гармонии. Полного соединения не было, и телесное раздражение усиливало сердечную тоску и недовольство. На чувственный обман и создание эротических иллюзий в Достоевском Марья Дмитриевна, вероятно, была неспособна. Возможно, что она делала невыгодные сравнения между Вергуновым и мужем-эпилептиком, который порою должен был отталкивать и даже страшить ее.

Для Достоевского она была первой женщиной, с которой он был близок не коротким объятием случайной встречи, а постоянным брачным сожителем — и его отношение к ней было очень сложным. Он скоро убедился в том, что она не могла стать его подругой в чисто половом смысле, что она не разделяла ни его сладострастия, ни его чувственности. И тогда он с удвоенной заботливостью сделался ее братом, покровителем и опекуном. Он жалел ее острой человеческой жалостью, он относился к ней с лаской и нежностью, как к маленькой девочке, которую надо оберегать от возможных бед и напастей. «Она бедная, слабая, она всего боится», «у нее гордое благородное сердце», — такими выражениями пестрят все его отзывы о жене. Много лет спустя, корректорше Починковской, внешне чуть напоминавшей Марью Дмитриевну, он сказал: «была это женщина души самой возвышенной и восторженной. Идеалистка была в полном смысле слова, да! и чиста и наивна, как ребенок».

Но если физически они не сумели сойтись, почему же был он и во всём остальном несчастен с этой благородной и возвышенной натурой? Почему их сожителство не удалось ни в каком плане, ни в одной плоскости? А что это было именно так — тому имеется множество прямых и косвенных указаний и признания самого Достоевского. Есть и точные свидетельства тех, кто знал обоих в первые годы их трудного и странного союза.

В письмах Марьи Дмитриевны тотчас же после свадьбы нет ни восклицаний, на которые обычно она не скупилась, ни уверений о счастье, которые естественно было бы ожидать от такой эмоциональной и живой натуры как ее. Одной из своих сестер она пишет, что «любима, балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем». О ее любви к нему — ни слова. То же говорит она и отцу: «счастлива за судьбу свою и Паши». Выражения ее сухи и холодны, стиль сдержан и рассудочен. Еще более удивителен тон писем Достоевского. Он резко меняется по сравнению с его излияниями за несколько месяцев до свадьбы. От прежних восторгов и романтических преувеличений не остается и следа. Родным Марьи Дмитриевны — отцу, сестре Варе, которая заочно ему очень нравится и с которой он потом подружится, он главным образом хвалит Исаева и его прекрасную душу, и лишь вскользь упоминает о том, что «несчастья по службе несколько расстроили его характер и здоровье». А брату Михаилу он пишет: «я ее очень люблю и она меня и покамест всё идет порядочно». Но уже в следующем письме вырывается фраза: «живем кое-как».

Объяснение этому отсутствию энтузиазма, явно указывающему на разочарование и нелады, следует искать, конечно, в характере обоих. Достоевский был человеком тяжелым и странным. И любовь его была нелегкая — с ее противоречиями нежности, сострада-

ния, жажды физического владычества, боязни причинить боль и неудержимого стремления к мучительству. Он не знал простых чувств (он потом признавался, что боялся и не понимал так называемых «простых натур»), и Бердяев называл его любовь «дионисиевой», потому что она разрывала на части и тело, и душу. Кроме того, этот писатель, умевший разгадать и представить все изгибы ума и сердца своих многочисленных и сложных героев, не находил слов, когда ему приходилось говорить о собственных переживаниях.

«В иных натурах, писал он в «Униженных и оскорбленных», бывает иногда какое-то упорство, какое-то целомудренное нежелание высказывать даже милому тебе существу свою нежность, и не только при людях, но даже и наедине; наедине еще больше, только изредка прорывается в них ласка, и прорывается тем горячее, тем порывистее, чем дольше она была сдержана».

Это признание явно автобиографично: почти в тех же выражениях Достоевский писал и брату, и друзьям о своей неспособности выразить чувства жестом, проявить ласку, побороть свою «деревянность». Марья Димитриевна, вероятно, принимала за холодность то, что было привычкой одиночества, робости и какой-то внутренней стыдливости.

О Марье Димитриевне после брака Достоевский глухо писал: «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная, прошлая жизнь оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности».

В самом начале их знакомства он упоминал, что у нее веселый и резвый характер, хотя и отмечал ее раздражительность и впечатлительность. Теперь он подчеркивал ее нервическое непостоянство, и скачки от веселья к ипохондрии. В наше время таких женщин, как Марья Димитриевна, считают истерическими натурами с явно выраженными тенденциями к мани

преследования и меланхолии, т. е. с чертами паранойи. Она молниеносно обижалась, повсюду видела подвохи, в гневе кричала и рыдала до упаду, потом, успокоившись, смиренно просила прощения и внезапно обнаруживала такое понимание и себя и других, такую кротость и доброту, что у Достоевского сердце разрывалось от сострадания, и он падал на колени и целовал ее руки. Конечно, ее нервозность и мнительность, фантастические вспышки злости или великодушия в значительной степени объяснялись ее общей физической слабостью: у нее назревал процесс в легких, и ее невращения, равно как и ее нынешняя неспособность рожать детей, имели глубокие биологические корни. Жить с ней изо дня в день было не только трудно, но порою мучительно. Конечно, жить с таким издерганным, страдающим и сложным, больным и гениальным человеком, как Достоевский, тоже было нелегким испытанием.

Дочь Достоевского, а вслед за нею и некоторые исследователи жизни писателя, склонны приписывать неудачу брака более грубой и явной причине: Марья Димитриевна-де продолжала любить Вергунова, страсти своей к прежнему любовнику скрыть не сумела, и поэтому Достоевский, в виду ее холодности и даже измены, отдалился от нее и глубоко страдал, хотя не мог уже уйти. Он оказался связанным по рукам и ногам (как известно, церковный брак можно было расторгнуть лишь после очень трудных и сложных, дорого стоивших хлопот), а дальнейшее развитие болезни жены окончательно лишило Достоевского, отличавшегося добротой и благородством, возможности покинуть несчастную женщину.

Любопытно, что тотчас же после брака Достоевский, несмотря на собственные материальные трудности и заботы, снова принимается хлопотать за Вергунова и говорит, что «он мне теперь дороже брата

родного». У него к нему было странное, почти физическое чувство любопытства и расположения, которое и мужчины и женщины очень часто испытывают по отношению к тем, кто были любовно близки с их партнерами. Такое чувство может существовать, несмотря на ревность или наряду с ней. Это особого рода эротическое свойство, и у некоторых индивидуумов оно проявляется с болезненной силой. Ученик Достоевского, Розанов, вероятно, объяснил бы это ощущением сексуально-плотской общности, близким кровосмешению, «все — родственники», и сказал бы, что оно типично для людей с глубоким половым чувством.

А Достоевский принадлежал именно к таким людям.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Внешнее устройство, поиски денег, всяческие хлопоты и заботы заняли время и помыслы Достоевского вплоть до осени 1857 года. Служба отнимала почти весь день. Дома ждали его невзгоды брачного сожительства, жена с тяжелым характером, скука мещанского быта. Только одно было хорошо: он всё более и более втягивался в писание. Каково бы ни было разрешение любовной драмы Достоевского, оно освободило его писательскую энергию, и мысли и чувства его, уже более не занятые вопросами о том, как добиться Марьи Дмитриевны, сосредоточились на новых произведениях.

Прошло почти два года, прежде чем Достоевский вновь обрел ту литературную беглость, какую, казалось ему, он навсегда утратил на каторге и в первый год пребывания в Сибирском Линейном батальоне. В конце 1857 года он мог с уверенностью сказать, что опять ощущал себя писателем. Его снова охватывала та одержимость в работе, которая так поражала прежде его знакомых. Он поистине жил в том мире, который создавал, он забывал и пить, и есть, обдумывая свои повести и романы, и до такой степени сживался со своими персонажами, что отвечал невпопад жене, ронял вещи, и вообще производил впечатление совершенно ненормального человека. Марья Дмитриевна плохо понимала эту одержимость, литературная страсть мужа ее несколько пугала, и она терялась, когда, ме-

ря комнату быстрыми шагами, Достоевский с увлечением рассказывал о каком-либо «замечательном» сюжете: для него все сюжеты всегда были замечательны. В 1857 и 1858 гг. он закончил «Дядюшкин сон» — описание провинциальных нравов в комическом виде, и «Село Степанчиково» — роман о лицемерии, герой которого, Фома Опискин, воплощал в себе русскую разновидность Тартюфа. «Дядюшкин сон» занял десять, а «Село Степанчиково» пятнадцать листов, но Достоевский мечтал о более крупном произведении, листов на шестьдесят, в диккенсовском стиле. Это были, вероятно, первые контуры «Униженных и оскорбленных», романа, который он закончил лишь через три года и в который вложил обширный автобиографический материал.

Одновременно с писанием Достоевский упорно добивался разрешения печататься. Сосредоточенность в достижении цели, доходившая опять-таки до одержимости, была характерна для него еще с молодости: он любил говорить о «неподвижных идеях» (*idée fixe*), о необходимости «бить в одну точку». Сейчас неподвижной идеей было возвращение в литературу.

В августе 1857 года в «Отечественных записках», впервые после восьмилетнего исчезновения его имени со страниц печати, появился его рассказ «Маленький Герой», написанный еще в 1849 году, до ареста. Но прошло еще два года, прежде чем «Русское Слово» могло напечатать «Дядюшкин сон» (февраль 1859), а «Отечественные записки» — «Село Степанчиково» (тоже в 1859 г.).

Либеральные меры нового царствования оживили надежды Достоевского, и он крепко верил, что Александр II развяжет тугие узлы, завязанные его отцом. Военной службой он очень тяготился, но выход в отставку зависел от разрешения проживать в Европейской России: он не мог рассчитывать на штатскую

службу в Семипалатинске, а мечты о возобновлении литературной карьеры и соответственного заработка упирались в чисто физические препятствия: письма в столицу шли по 20-25 дней, переговоры с издателями и журналами приходилось вести через брата Михаила. У него была и семья, и дела — он владел папиросной фабрикой — и, несмотря на всю любовь и преданность, не мог превратиться в литературного агента. Для того, чтобы зарабатывать на жизнь писательством, надо было находиться «у истоков», т. е. в Москве или Петербурге. А думать об этом до окончания срока службы в Сибири нельзя было. Отрадным признаком, однако, было возвращение ему потомственного дворянства в мае 1857 года. Это означало полное восстановление в правах. Офицер и дворянин, он уже не чувствовал себя более каторжником и государственным преступником. Но хлопоты Врангеля, находившегося в Петербурге, брата Михаила и ряда знакомых подвигались очень медленно. Вместо осуществления надежд — вокруг была тошная строевая служба, нищенское жалованье, упреки жены. Марья Димитриевна видела, что и ее мечты не воплотились: ведь ей хотелось вернуться в семипалатинское общество победительницей и доказать всем этим тупым и чванливым дамам, как они ошибались, пренебрегая ею. Но получить реванш не удалось: денег у нее не было даже для самого скромного приема гостей или для нарядов, и приходилось снова сидеть дома и скучать. Пашу, опять-таки благодаря усилиям Федора Михайловича, удалось определить в Сибирский Кадетский корпус, и с августа 1857 супруги жили вдвоем. Оба хворали — Достоевский приписывал нездоровью жены отсутствие детей. «Живем мы понемногу, — писал он Константу, — и нет причин жаловаться на свою судьбу, но здоровье мое плохо». Любопытно, что, судя по записи, которую Достоевский вел, отмечая даты своих припадков, именно

в период сентябрь-декабрь 1857 г., когда он жаловался на здоровье, эпилепсии у него не было. Очевидно, подавленное настроение вызывалось другими причинами. В конце ноября он пишет сестре Марьи Димитриевны, Варе:

«Знаете ли, у меня есть такой предрассудок, предчувствие, что я скоро должен умереть. Такие предчувствия бывают почти всегда от мнительности, но уверяю вас, что я в этом случае не мнителен, и уверенность моя в близкой смерти совершенно хладнокровная... Мне кажется, что я уже всё прожил на свете и более ничего не будет, к чему можно стремиться». Эти строки он пишет через десять месяцев после брака с «ангелом», с той женщиной, «без которой нельзя жить» и из-за которой он собирался броситься в Иртыш.

В январе 1858 г., следуя советам друзей из Петербурга, Достоевский подал официальное прошение об отставке и разрешении вернуться в Европейскую Россию. Ведь он отбыл срок наказания — по приговору ему полагалось провести четыре года в Сибири по выходе с каторги, — и вот четвертый год в Семипалатинске подходил к концу. Прошло, однако, еще пятнадцать месяцев прежде чем просьба его — вполне законная — была удовлетворена. И ожидание оказалось настолько томительным, что Достоевский сохранил о нем самые мрачные воспоминания. «Живу в Семипалатинске, который мне надоел смертельно, жизнь в нем болезненно мучит меня, — писал он Якушкину в декабре 1858 г., — журналов я не читаю, и вот уже полгода не брал в руки даже газет». Писание подвигалось медленно, но тут причиной было желание Достоевского наилучшим образом воплотить свой художественный замысел. В мае 1858 он отвечает брату на письмо о художественном творчестве.

«Но что у тебя за теория, друг мой, что картина должна быть написана сразу и пр. и пр. и пр. Поверь,

что везде нужен труд, и огромный. Ты явно смешиваешь вдохновение, т. е. первое, мгновенное создание картины или движения в душе (что всегда так и делается) с работой. Я, например, сцену тотчас же и записываю, так, как она мне явилась впервые, и рад ей; но потом целые месяцы, годы, обрабатываю ее, вдохновляюсь ею по несколько раз... и несколько раз прибавлю к ней или убавлю что-нибудь».

Но в 1858 и начале в 1859 года вдохновения было мало и оставалась по преимуществу работа, да и та не клеилась.

Меланхолию и апатию Достоевского усиливало растущее сознание семейного банкротства. Едва он приходил домой с ненавистной службы, как начинались стычки с женой, ее слезы и упреки. Она всё желала «играть роль», и обижалась на него, точно он был виноват в безденежье и невозможности принимать. Поддавшись его уверениям, что всё скоро образуется, она считала семипалатинское существование временным, и они жили точно на бивуаке. Хотя Достоевский и выбивался из сил, давая уроки, занимая деньги направо и налево и прибегая ко всевозможным финансовым комбинациям, они никак не могли выбиться из нужды. Его иллюзии, что она хорошая хозяйка, быстро улетучились: как и он, она не умела считать деньги, жили они безалаберно, в постоянном страхе кредиторов, неприятностей и полного расстройтва их скудных финансов, иными словами, в боязни, что наступит день, когда и хлеба будет не на что купить. Им едва хватало, чтобы заплатить за стол и квартиру, об иных расходах не приходилось и думать. Одна из учениц Достоевского, Мамонтова-Мельчакова, дочь купца, которую он обучал математике, вспоминала, как ее учитель хрипло кашлял зимою и «прикрывал шинелью недостатки костюма». Несчастный этот год тянулся без радостей и просветов, от любви осталась только привычка привязанно-

сти и жалость, будущее представлялось в самых неприглядных красках.

Но вот весной 1859 года было получено долгожданное разрешение выйти в отставку и избрать для жительства любой город Европейской России, за исключением столиц: пребывание в Москве или Петербурге было ему запрещено. Достоевский разом воспрял духом. Начались хлопоты — на этот раз веселые — об отъезде. Все знакомые снаряжали их в дорогу, получить займы деньги на путешествие не представило никаких трудностей. Пашу взяли из корпуса. 30 июня была подписана официальная бумага о выходе Достоевского в отставку в чине подпоручика. Через два дня в тарантасе, специально купленном для поездки, Федор Михайлович, Марья Димитриевна, Паша и слуга выехали из Семипалатинска. Достоевский решил поселиться в Твери: город находился вблизи Москвы, на линии железной дороги между двумя столицами. До места назначения надо было сделать четыре тысячи верст на лошадях. Ехали долго, останавливались в разных городах, в Екатеринбурге не удержались: накупили чётков, запонок, пуговиц из самоцветных камней. В Нижнем Новгороде Марья Димитриевна отдыхала в гостинице, покамест Достоевский осматривал знаменитую ярмарку. Вообще, Марья Димитриевна плохо переносила езду и всё болела, и того удовольствия, какое Достоевский ожидал от путешествия, не получилось: никто не разделял его восторгов от природы и новых лиц и мест, и он с особенной силой ощутил свое одиночество.

Это ощущение резко усилилось по приезде в Тверь, в конце августа. После долгих поисков они сняли меблированную квартирку из трех комнат. Так советовал брат Михаил, да на большее нехватало средств, но Марья Димитриевна осталась этим очень недовольна. Всё не нравилось ей в Твери, и она донимала мужа упреками и нелепыми просьбами. И Достоевскому

Тверь не понравилась — это был маленький провинциальный городок с улицами, поросшими травой, — но он волновался от близости столицы, без умолку говорил о своих литературных планах. А она отвечала ему жалобами на то, что у нее нет туалетов и все тряпки ее слишком пахнут сибирской глушью. Во всяком случае, вот что он пишет брату на другой день после возвращения из каторги и ссылки, после своего, как он выражается, воскресения из мертвых, после восьми лет разлуки с Россией:

«Вчера писал тебе о шляпке, не забудь, ради Бога, друг мой. Образчик лент для уборки шляпы, ленты эти от Вихман из Петербурга (сказала здешняя магазинщица). Цвет же шляпки как серенькая полоска на лентах». Главная забота Марьи Дмитриевны была не ударить лицом в грязь перед местными модницами, но она тут же заявила мужу, что выходить не станет, потому что ей негде принимать. Своей квартиры она стыдилась, бедность свою принимала, как незаслуженное оскорбление, и вообще вела себя, как мученица, которую унижал и обижал злой тиран муж — недостойный ее возвышенной души. В «Униженных и оскорбленных» Достоевский описал это состояние: «так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми... У женщин, например, бывает иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженною, хотя бы не было ни обид, ни несчастий».

Через два месяца после обоснования в Твери он писал в Сибирь: «знакомства веду я один, Марья Дмитриевна не хочет, потому что принимать у нас негде... Марья Дмитриевна плачет иногда, вспоминая вас», т. е. Семипалатинск. Если недавнее прошлое казалось ей ныне завидным, а воспоминание о нем вызывало слезы сожаления, то значит переезд в Европейскую Россию принес новые разочарования и новую неудачу. Всё ее тяготило, она никак не могла прими-

риться ни со своим положением, ни с работой мужа, ни с его родней. К Достоевскому приехал старший его брат, Михаил, которого он не видел девять лет, это свидание было для него огромной радостью; но всё дело испортила Марья Дмитриевна. Отношения ее с Михаилом не наладились, оба друг другу не приглянулись. Михаил скрывал свою неприязнь, а Марья Дмитриевна открыто ее проявляла. Она знала, что в свое время Михаил отговаривал Федора от женитьбы. Она знала также, что он был счастлив в семейной жизни, что жена его, немудрая хорошенькая немочка, которую нашел он в Ревеле, родила ему детей, устроила ему уютный дом и жила с ним душа в душу — то есть как раз то, чего она не сумела дать Федору Михайловичу. Во всяком случае она тотчас же начала ревновать мужа к Михаилу, заподозрела семью брата в интригах против нее самой, и всем своим поведением и речами доставила лишнее огорчение Федору Михайловичу.

Она была фантастична, мнительна, ревновала невпопад, всегда к тем женщинам, о которых Достоевский и не думал, и не подозревала тех, кем он интересовался. По всякому поводу начинались слезы и сцены. С ней невозможно было никуда выйти, всегда происходила какая-нибудь нелепая история: то ей не так подали в ресторане, то ей ответили грубым тоном в магазине, то знакомый, проходя, едва ей поклонился. Когда муж был весел, она была грустна, но стоило ему задуматься, как она начинала надоедать ему шутками и беспричинным смехом. А когда он садился за работу, она упрекала, что он держит ее точно в заточенье, не показывает друзьям, ни с чем с ней не делится. Но делиться он с нею не мог, потому что она не понимала ни его религиозных исканий, ни его литературных устремлений. К его писаниям у нее всегда было чуть скептическое отношение. Она была воспитана на Карамзине, Тургенев был ей ближе, чем произведения ее

собственного мужа, и Достоевский хмурился и раздражался, когда она заговаривала о современной литературе, в которой мало понимала. Тяготил его и ее внутренний провинциализм, ее неожиданные и дикие нападки на мало знакомых людей, ее способность сгоряча расхвалить человека, а потом уничтожить его насмешками и бранью, ее переходы от оптимистических фантазий к полной прострации. Порою, особенно когда она давала волю своей подозрительности и объявляла врагами, чуть ли не дьяволами, самых безобидных людей, он ощущал приступы злобы и ненависти.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Именно в Твери брак Достоевского потерпел окончательное крушение. Было ли это следствием постепенно накапливавшихся недоразумений и даже вражды? Прекратилась ли та физическая близость, которая, худо ли хорошо ли, всё же существовала еще в Семипалатинске? Или же надо поверить неправдоподобному рассказу дочери Достоевского о том, что Вергунов будто бы последовал за Марьей Дмитриевной в Тверь, и измена ее стала очевидной даже для идеализировавшего ее мужа? Скорее всего, Марья Дмитриевна призналась, что продолжает любить Вергунова. Но даже если всё было так, как описывает дочь Достоевского, и Марья Дмитриевна объявила мужу, что не любит и никогда не любила его, какую цену мог он придавать ее истерическим выкрикам? Он-то хорошо знал, что она — больная и несчастная женщина, на каждом шагу изобретающая новые выдумки, чтоб заглушить свои метания и горечь. Он прекрасно понимал, что она тоже страдает. Самые отношения их были основаны на том, что оба мучили и жалели друг друга. Просветы нежности и сострадания связывали их больше, чем страсть. Странное чувство — смешение боли, милосердия (особенно с его стороны), воспоминаний о прошлом, сожаления о несбывшемся — притягивало их друг к другу. Да кроме того, создалась и привычка, от нее слишком трудно было отказаться. Пять лет Достоевский любил Марью Дмитриевну, и он жил с ней третий год. Уже

после ее смерти он признавался Врангелю, единственному человеку, знавшему правду о браке Достоевского: «...Несмотря на то, что мы были положительно несчастны вместе, мы не могли перестать любить друг друга: даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу» (письмо от 31 марта 1865 года).

Разгадку этой странной связи надо отчасти искать в детских впечатлениях Достоевского: в те годы, когда мать его угасала от чахотки, образовалась в нем бессознательная ассоциация любви и недуга, нежности и страдания, влечения и телесного ущерба. Слияние — по сходству — двух образов, жены и матери, в один, больной и страдающей женщины, являлось одновременно и источником физической преграды по отношению к Марье Дмитриевне, и причиной крепкой сердечной любви. Марья Дмитриевна сознавала, что болезнь лишила ее прежней привлекательности и мучительно переживала исчезновение физической близости с мужем, но отшатывалась от него, едва он проявлял желание. Она говорила ему, что он только и ждет ее смерти, чтобы отделаться от ненужной обузы, но когда он убеждал ее лечиться, утверждала, что нужна ему лишь как любовница. Она обвиняла его во всех смертных грехах, в измене и обидах, подлинных или выдуманных, нынешних и прошлых, она вспоминала все ошибки последних четырех лет. Больше всего Достоевский любил ее, когда расставался с нею. Достаточно было ему уехать от нее, как он начинал тосковать по ней и жалеть ее самой горячей жалостью. Разлука пробуждала в нем нежное влечение к той, от кого он с облегчением убегал, чтоб хоть немного отдохнуть и отойти. То же было и с ней. Поэтому всегда после разлуки происходили трогательные сцены примирения и попытки новой жизни, а затем, после нескольких дней (а иногда и часов) тишины и гармонии — снова споры, ссоры, семейный ад.

В сентябре 1859 года на вопрос Врангеля он отвечает: если спросите обо мне, то, что вам сказать: взял на себя заботы семейные и тяну их. Но я верю, что еще не кончилась моя жизнь и не хочу умирать». Смысл этого признания ясен: от брака не осталось ничего, кроме обязанностей. Его долг — оставаться с женщиной, которая не могла дать ему ни уюта, ни семьи, ни любви. Неудачу своего личного существования он ощущал очень болезненно. В октябре 1859 писал брату: «положение мое здесь тяжелое, скверное, грустное. Сердце высохнет. Кончатся ли когда-нибудь мои бедствия?».

И затем в разных письмах звучит всё тот же мотив: «я вполне один». Это сознание одиночества и есть окончательный приговор его браку. Он ошибся насчет Марьи Дмитриевны: она прекрасная и добрая женщина, но таков ее характера, и таковы обстоятельства, что ничего, кроме горя, ему от нее не видать.

Единственной отрадой и спасением было писание, но осенью 1859 и в начале 1860 гг. литературные дела его были далеко не блестящи: «Дядюшкин сон», напечатанный в «Русском Слове», успеха не имел, с «Селом Степанчиковым», который Достоевский называл комическим романом, пришлось долго возиться, прежде чем его приняли, а когда «Отечественные записки» в конце концов напечатали его, критика не обмолвилась о новом произведении ни единым словом. Теперь Достоевский работал над «Униженными и оскорбленными» и «Записками из мертвого дома» и всё переписывался с братом насчет издания собрания сочинений в двух или трех томах — главным образом для улучшения финансов.

Хотя припадков не было, здоровье его попрежнему было шатким, Марья Дмитриевна была одержима своей «неподвижной идеей»: ей всё мерещилось, что он скоро умрет, и она останется вдвоем с сыном в еще

более трудном положении, чем после первого вдовства. Она поэтому заставляет его в письме к государю по самому важному для него вопросу — о разрешении жить в столице — включить просьбу о принятии Паши в гимназию на казенный счет... О «потомственном дворянине двенадцатилетнем Паше Исаеве» пишет он и в других обращениях к различным высокопоставленным особам. Оба ходатайства удовлетворены: Паша помещен в гимназию, а в декабре 1859 года получено, наконец, разрешение на свободное проживание в обеих столицах. Еще до этого Достоевский отправился тайком на один день в Москву, и, по возвращении, так воспламенил жену своими восторженными рассказами, что и она начала строить планы о переселении из Твери. Это был единственный случай, когда она вышла из своего обычного состояния меланхолии, апатии или боязни за мужа: она приходила в ужас от самого ничтожного желудочного недомогания Достоевского, и в то же время едва сознавала, что сама таяла от медленно но неуклонно развивавшейся болезни.

В декабре 1859 г. Достоевский выехал в Петербург, а в начале 1860 к нему присоединилась Марья Дмитриевна. Она, однако, не выдержала холодного и гнилого климата столицы, и принуждена была вернуться в Тверь. С этого момента совместная жизнь их нарушена, они лишь изредка имеют подобие общего дома, а чаще всего проживают на разных квартирах, в разных городах. Летом 1862 года Достоевский отправился за границу, один, а Марья Дмитриевна осталась в Петербурге якобы для помощи сыну в подготовке к гимназическому экзамену (Паша оказался «неуспевающим» учеником). Некоторым друзьям Достоевский объяснял, что на поездку за границу с женой не хватило денег. Перед отъездом он выдал ей доверенность на получение всех причитающихся ему сумм в случае его болезни или смерти. Всякие отговорки и объяснения нужны бы-

ли, вероятно, для соблюдения приличий — но с 1861 супруги жили врозь не только физически, но и решительно во всём остальном. У Достоевского была его собственная жизнь, к которой Марья Димитриевна не имела никакого отношения. Она чахла и умирала. Он встречался с людьми, издавал журнал и писал: с 1860 по 1862 год он написал свыше ста печатных листов.

За границу летом 1862 года он ехал с явным чувством радости и свободы. Впервые за долгое время веселые, даже шутливые ноты звучат в его письмах к близким людям.

«Ах, кабы нам вместе, — пишет он Страхову. — Увидим Неаполь, пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле (А? Николай Николаевич?). Но... ничего, ничего, молчание, как говорит в этом же самом случае Поприщин».

Ему страстно хотелось побывать в Италии — и хотелось именно теперь, пока были силы, и жар, и поэзия, как писал Полонскому, а не ждать до того времени, когда он отправится на юг с лысой и плешивой головой лечить на солнце застарелый ревматизм.

Он побывал в Берлине, Париже, который очень ему не понравился, проехал по Рейну и Швейцарии, а затем прожил несколько недель во Флоренции и объездил почти всю Италию. Именно в эту поездку начал он играть в рулетку, и эта новая страсть поглотила его целиком.

В сентябре, по возвращении, он нашел Марью Димитриевну в постели. Ей было очень худо. С этого момента она — инвалид, и Достоевский ухаживал за нею, как брат милосердия. Зимой она почти не выходила из своей комнаты и лежала по целым месяцам. Весною 1863 ей стало так плохо, что опасались за ее жизнь, и ей удалось выжить чудом. При первой возможности Достоевский отвез ее во Владимир, где климат был го-

раздо мягче. В июне он описывал свои невзгоды Тургеневу: «болезнь жены (чахотка), расставание мое с нею (потому), что она, пережив весну, т. е. не умерев в Петербурге, оставила Петербург на лето, а, может быть, и долее, причем я сам ее сопровождал из Петербурга, в котором она не могла более переносить климата».

Но сам Достоевский за нею во Владимир не последовал. Сперва он по горло был занят делами, издательскими и финансовыми, а затем снова уехал за границу — и на этот раз он был уже в Париже, Италии и Германии не один.

Жену увидел он только в октябре, во Владимире, и тут же принял решение везти ее в Москву: поселиться с нею в Петербурге было невозможно, а оставлять во Владимире тоже повидимому нельзя было. Марья Дмитриевна была настолько изнурена лихорадкой и, вообще, находилась в таком критическом состоянии, что даже переезд из Владимира в близкую Москву представлялся затруднительным, почти опасным. «Однако, пишет Достоевский брату, по некоторым крайним обстоятельствам другие причины так настоятельны, что оставаться во Владимире никак нельзя». Каковы были эти причины? Действовали ли тут соображения делового порядка, или же, как всегда у Достоевского, за короткими фразами письма скрывались какие-то сложные жизненные сплетения, какие-то тайные ходы личных отношений и психологических комплексов, которые так и останутся одной из загадок биографии писателя? Неужели во Владимире, как об этом намекает дочь Достоевского, находился Вергунов? А может быть, Марья Дмитриевна подозревала мужа в неверности и не хотела с ним расставаться — он же мог выбирать лишь между Москвой и Петербургом, но уж ни в коем случае не хоронить себя в провинциальном Владимире. Или, возможно, что Марья Дмитриевна

поссорилась с теми родными или знакомыми, которые всё это время ходили за нею. И уж во всяком случае, Достоевский считал своим долгом облегчить жене последние месяцы ее жизни. Это было гораздо легче в Москве.

В начале ноября Достоевские обосновались в Москве. Федор Михайлович получил небольшое наследство и был менее стеснен в деньгах, чем обычно. Он проводил дни и ночи за письменным столом, но работа подвигалась плохо: он писал «Игрока» и статьи для журнала «Эпоха». Два припадка прервали его деятельность на несколько дней, но самым большим препятствием к труду была необходимость ухаживать за женой. Она от болезни стала так раздражительна, что не могла выносить никого, даже сына, приехавшего из Петербурга навестить ее. Впрочем, он был настолько легкомыслен, учился так плохо и делал такие глупости, что сделался совсем несносным подростком.

Достоевский отлично сознавал, что конец близок.

«Жаль мне ее ужасно, — пишет он брату в январе 1864 г., — у Марьи Дмитриевны поминутно смерть на уме, грустит и приходит в отчаяние. Такие минуты очень тяжелы для нее. Нервы ее раздражены в высшей степени. Грудь плоха, и иссохла она, как спичка. Ужас! Больно и тяжело смотреть».

Марья Дмитриевна умирала мучительно и трудно: ее страдания и настроения, повидимому, носились в памяти романиста, когда он описывал в «Идиоте» агонию Ипполита. Да и все больные, большей частью чахоточные женщины его произведений, сохраняют черты, общие с Марьей Дмитриевной.

Уже в феврале стало ясно, что весны Марья Дмитриевна не переживет. Достоевский плохо работает, сам болеет, душевно разрывается между умирающей женой и той внутренней драмой новой любви, которая в это время владела им.

Марья Дмитриевна таяла буквально с каждым днем. Достоевский писал 26 марта:

«Марья Дмитриевна до того слаба, что А. П. (доктор) не отвечает уже ни за один день. Далее двух недель она *низачто* не проживет. Постараюсь кончить повесть поскорее, но сам посуди, удачное ли время для писанья?»

А Марья Дмитриевна, как это часто бывает с умирающими, уже перестает понимать, что ее положение безнадежно, мечтает уехать в Астрахань к отцу, или в Таганрог, где у Константов был дом, и боится напоминаний о Паше, ибо она заявила, что хочет видеть его только для предсмертного благословенья. И как раз в те дни, когда она предается всяким мечтаниям об отъезде и поправке, Достоевский просит брата приготовить черную одежду для сына Марьи Дмитриевны и пишет: «как умрет Марья Дмитриевна, я тотчас же пришлю телеграмму». Это приятие совершающегося и спокойное, почти деловое обсуждение неизбежного продолжалось, однако, недолго. В апреле началась длительная и страшная агония Марьи Дмитриевны: «мучения мои всяческие теперь так тяжелы, — писал Достоевский 2 апреля, — что я и упоминать не хочу о них. Жена умирает *буквально*. Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне, потому что... Писать же работа не механическая, и однако ж и я пишу и пишу, по утрам».

14 апреля с Марьей Дмитриевной сделался припадок, кровь хлынула горлом и начала заливать грудь. На другой день к вечеру она умерла — умерла тихо, при полной памяти, и всех благословила: «она столько выстрадала, что я не знаю, кто бы мог не примириться с ней». Эти слова письма Достоевского, извещавшего о кончине жены, были обращены к брату Михаилу, которого Марья Дмитриевна всегда считала ее «тайным

врагом». Он, в свою очередь, очень не любил ее и был уверен, что она загубила жизнь Федора Михайловича.

Через год после смерти жены Достоевский так писал о ней тому, кто не только знал ее, но и был свидетелем первых лет их любви:

«Существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 64 года, и 16 апреля прошлого года* она скончалась в полной памяти... и, прощаясь, вспомнила и вас. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Всё расскажу вам при свидании, теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть мучился, видя весь год, как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство всё то же, не уменьшается».

Достоевский любил ее за все те чувства, которые она в нем возбудила, за всё то, что он вложил в нее, за всё, что с нею было связано — и за те страдания, которые она ему причинила. Но он любил ее и за ее собственные страдания — тем сложным сплетением

* Даты Достоевского не совсем точны: Марья Димитриевна переехала в Москву в ноябре 1863 года, а умерла 15 апреля 1864 года.

человеческой жалости, нежности, сладострастия и того одновременно сыновнего и отцовского чувства близости, которое связывало его с больной и истерической Марьей Дмитриевной крепче, чем радость удачного брака. Недаром она напоминала ему его больную мать. В некоторых отношениях были они похожи друг на друга: в обоих легко вспыхивал какой-то огонь испуга, оба не вмещались в обычные рамки спокойствия и привычки, у обоих всё было через край, не знало меры. Но то, что было пламенем гения в Достоевском, у Марьи Дмитриевны полыхало болотными огоньками тяжелого недуга.

След от Марьи Дмитриевны можно найти во многих произведениях Достоевского. Наташа в «Униженных и оскорбленных», жена Мармеладова в «Преступлении и наказании», отчасти Настасья Филипповна в «Идиоте» и Катерина в «Братьях Карамазовых» — все эти образы женщин с бледными щеками, лихорадочным взором и порывистыми движениями навеяны той, кто был первой и большой любовью писателя.

То, что Достоевский написал и о ней, и о своих переживаниях Врангелю, старому семипалатинскому другу, было, конечно, истинной правдой. Но он не упомянул, что ухаживая за умирающей, он ощущал не одну только муку сострадания и привязанности. Он должен был испытывать и чувство вины, может быть, стыда и угрызений совести, потому что и сердце, и мысли его были разделены, и у изголовья Марьи Дмитриевны он мечтал о другой женщине и стремился к ней со всей силой страсти, ревности и желания.

Часть вторая

ПОДРУГА ВЕЧНАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Со времени переезда в Петербург в 1860 году Достоевский развил кипучую деятельность. Вместе с братом Михаилом он приступил к изданию ежемесячного журнала «Время». Редакционная работа и статьи отнимали у него много энергии. И в то же время он безостановочно писал. У него был отличный, почти каллиграфический почерк, он любил твердое стальное перо и хорошую плотную бумагу, и за два года, прошедшие со дня его приезда из Твери, он исписал свыше 1.600 страниц. «Записки из мертвого дома» и «Униженные и оскорбленные», печатавшиеся в его собственном журнале с января по июль 1861 года, вновь привлекли к нему внимание публики и критиков. В «Записках» он изобразил всё, что видел в сибирских тюрьмах, и его незатейливый рассказ был проникнут таким чувством понимания и жалости к преступникам, так ярко и убедительно обнажал все противоречия их натуры, одинаково способной и на дикое насилие и на доброе движение сердца, что очерки эти тотчас были отмечены, как выдающийся образец новой реалистической школы и гуманистического направления. В убийцах и нарушителях законов Достоевский открыл искру человечности и крупицу «божеского»: отсюда его вера, что даже в самой черной низости русский народ хранит надежду на милосердие и мечту о Христе.

Хотя и в совершенно другом плане, «Униженные и оскорбленные» тоже выражали гуманные стремления

автора. Несмотря на весь их мелодраматизм и арсенал романтических приемов — незаконные дети, отцовское проклятие, тайны наследства и рождения, благородные нищие, злодей князь, добродетельные и прекрасные девушки и чистые грешницы, — несмотря на все сплетения интриги и совпадения любви и смерти, «Униженные и оскорбленные» дышали всё тем же состраданием к маленькому человеку, всё той же обидой на трудную судьбу бедняков и обездоленных, что и первое произведение, давшее известность Достоевскому пятнадцать лет тому назад. Несчастья и страдания героев нового романа вызывали сочувствие и даже слёзы читателя. Но для современника, конечно, были менее очевидны, чем для нас, их автобиографические черты. Писатель Иван Петрович, от имени которого ведется повествование, бескорыстно и беззаветно любит Наташу: она предпочитает ему Алёшу, сына князя Вадковского. Наташа уходит к Алёше и живет с ним, не прерывая, однако, дружеской близости с Иваном Петровичем, и их отношения такие же волнующие и странные, как у Достоевского с Марьей Димитриевной в пору ее увлечения Вергуновым. Мало того, Иван Петрович заботится о счастливом сопернике, помогает Наташе наладить ее жизнь с Алешей, утешает ее, повторяя некоторые страницы из биографии самого Достоевского. Двое мужчин любят одну и ту же молодую женщину, и она сама привязана к обоим — эта ситуация слишком часто встречается в его произведениях, чтобы ее можно было попросту принять за литературный прием, вне зависимости от личного опыта писателя. В частности, любовный треугольник в «Униженных и оскорбленных» слишком явно напоминают действительные происшествия из истории его первого брака.

Успех «Записок из мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных» позволили Достоевскому добиться

того, о чем он мечтал в сибирской глуши: он снова выходит в первые ряды русских писателей и занимает место, которое потерял из-за многолетнего вынужденного молчания. Он, правда, не столь популярен, как Тургенев или другие властители дум шестидесятых годов, но в сравнительно короткий срок он становится одной из видных фигур в литературных кругах столицы. Он встречается со множеством людей, знакомится с представителями художественного, театрального и ученого мира, он вхож в дома «меценатов» и журналистов, он выступает с чтениями на благотворительных вечерах, куда обычно приглашались корифеи эстрады и слова. Всё это не значит, что Достоевский сделался светским человеком. Он попрежнему сдержан и нелюдим и предпочитает сидеть дома, но не может отказать от того образа жизни, который неизбежен в его положении писателя и редактора журнала. И кроме того, он был так долго лишен общения с интеллигентными людьми, что теперь, поборов природную диковатость и любовь к уединению, он с жадностью видится с литераторами, поэтами и романистами. Весь дух эпохи толкает его к общению с людьми, к живому обмену мыслями. Правительство, уступая растущему давлению общественного мнения, начинает эру великих реформ, вся Россия, встрепенувшись, пробуждается к новой жизни, ищет новых путей. Освобождение крестьян, создание независимого и гуманного суда, включая институт присяжных заседателей, нововведения в образовании и торговле, во всех областях социальной и экономической деятельности, преображают страну и надвое переламывают ее историю. Освободительные и оптимистические стремления этой бурной эры захватывают Достоевского, хотя он зачастую плывет против течения: интеллигенция левеет, а он правее, бывшие монархисты становятся революционерами, а он делается монархистом, радикальная

молодежь атеистична, а он ищет Бога, нигилисты всё упрощают и выкидывают лозунг утилитарности и материализма, а он интересуется психологическими сложностями и высшими идеалами христианства.

В 1860-62 гг. он окунулся в работу с каким-то неистовым увлечением. В ней были и выход для его дум и чувств, и бессознательное вознаграждение за неудачу личной жизни. Но помимо этого, он должен был работать как поденщик, чтобы свести концы с концами. Литературный заработок — его единственный источник существования. Достоевский — один из первых русских писателей-профессионалов, и он гордится этим своим званием, хотя и вечно жалуется и на оскорбительное безденежье и на постоянную спешку, мешающую ему отделять его произведения. Он вечно в долгу у издателей, ему необходимо отрабатывать авансы и ночами дописывать очередные главы романа «с продолжением» для выходящей книжки журнала. Он завидует писателям-аристократам, как Тургенев и Толстой, или писателям-чиновникам, как Гончаров: им никогда не приходилось писать ради денег, рассчитывая наперед, что столько то листов нового произведения обеспечат плату за квартиру или долг портному. Впрочем, как это было и с Диккенсом и Бальзаком, критики сильно преувеличили зависимость слога Достоевского от условий его работы. Ходячее мнение приписывает длинноты и недостатки конструкции его романов необходимости печататься в периодических изданиях и финансовым трудностям. Но будь у Достоевского больше времени для шлифовки слога, он, вероятно, писал бы всё тем же стилем пространных монологов, драматических отступлений и словесных нагромождений, — потому что это была его манера, его собственная и неодолимая стилистическая особенность, его естественный способ выражения: от него он не мог отказаться, даже если бы материальная обеспе-

ченность позволила ему по три раза переписывать одну страницу.

Работа и первые литературные удачи вновь окрылили Достоевского. На свою брачную жизнь он явно махнул рукой. Независимо от того, действительно ли Марья Димитриевна призналась ему в Твери, что никогда его не любила и отдала свое сердце и тело Вергунову, разрыв между супругами длился уже второй год. Марья Димитриевна либо болела, почти не выходя из своей комнаты и нередко устраивая очередные сцены и истерики, либо уезжала надолго в деревню. Как ни было тяжело подобное положение, у Достоевского было слишком много нерастроченной жизненной силы и простого желания радости, чтобы он мог считать свое сентиментальное и эротическое существование завершенным. Врангель, у которого тоже всё обстояло далеко не благополучно в его романе с Е. Гернгросс, женой Барнаульского губернатора, написал ему в минорном тоне, а Достоевский ему ответил:

«И вы, и я, пожили и много прожили... Выдержав два раза сердечную горячку, вы думаете, что истощили всё. Когда нет нового, так и кажется, что совсем умер».

Может быть, подобное настроение и владело им в Твери, теперь же он заявляет: «но я верю, что не кончилась еще моя жизнь, и не хочу умирать». До переезда в Петербург у него не было ничего «нового» в любовной области: он был верен Марье Димитриевне и не сближался с другими женщинами. Но после того, как он покинул Тверь, жизнь его резко изменилась, он проводил дни и вечера вне дома, ездил в Москву и за границу один, встречал интересных девушек и в редакции, и у брата, и у знакомых. «Штудирование характера знакомых дам, — рассказывает современник, — было сейчас его любимым занятием». Он сильно ими интересовался и не скрывал этого, чем весьма удивлял

брата Михаила, хорошо помнившего, как он боялся и сторонился женщин в молодости. А теперь некоторые из них, как, например, Александра Шуберт, умная и красивая актриса, очень привлекали его. Он скоро подружился с Шуберт; «я так уверен в себе, что не влюблен в вас», — всё повторял он, но дружба эта носила очень романтический и эмоциональный характер. Шуберт поселилась в Москве, и когда Достоевский бывал там, он всегда с нею виделся. Некоторые поездки были, повидимому, вызваны сильным желанием встретиться с очаровательной актрисой.

Достоевский снова жаждал «женского общества», и сердце его было свободно: Марья Димитриевна более не заполняла его чувств и ума, а ее прежнее поведение и история с Вергуновым снимали с него всякие моральные обязательства. Он считал себя также свободным и в чисто физическом смысле. В этой области личные склонности Достоевского и его эротическая двойственность совпали с веяниями эпохи и настроениями некоторых интеллигентских кругов. Когда его друг и биограф Н. Страхов познакомился с братьями Достоевскими в начале 60-х годов, он был поражен тем духом, который царствовал в редакции их журнала:

«С удивлением замечал я, что тут не придавалось никакой важности всякого рода физическим излишествам и отступлениям от нормального порядка. Люди, чрезвычайно чуткие в нравственном отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большей частью сами чуждые какой-нибудь физической распушенности, смотрели, однако, совершенно спокойно на все беспорядки этого рода, говорили о них, как о забавных пустяках, которым предаваться вполне позволительно в свободную минуту. Безобразие духовное судилось тонко и строго: безобразие плотское не ставилось ни во что. Эта странная эманципация плоти действовала соблазнительно, и в некоторых слу-

чаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспомнить».

Осторожные и нарочито туманные выражения Страхова относятся к окружению писателя, но Достоевский, конечно, разделял общие взгляды. Мало того: они соответствовали его обычному разграничению физического и духовного начала любви. И сейчас, как и в молодости, он считал естественными встречи, которые давали ему одно удовлетворение чувственного желания. Но то, что у других было простой «эманципацией плоти», по выражению Страхова, у Достоевского принимало более сложный, а порою и болезненный характер. Весь опыт брака с Марьей Дмитриевной обострил в нем сознание, что пол тайно сочетается со страданием. Об интимном родстве боли и любви знали и другие художники 19-го века, но, пожалуй, никто не ощущал его так жгуче, как Достоевский. Бодлер видел эту связь во всех физических отношениях между мужчиной и женщиной. Он сравнивал половой акт с наказанием, даже казнью, и чувство обладания объяснял, как право насилловать и причинять боль. Недаром, писал он, сладострастие вызывает у женщин стоны и крики, точно их бьют или пытаются. Достоевский отлично понимал неразрывность физического соединения и боли, но он расширил (или «сублимировал») неизбежный садистский элемент полового акта, перенеся его в область психическую. В воображении, чувствах и мечтах сладострастие неотделимо у него от мучительства. У всех его героев, как основной мотив их сексуальности, на первый план выступает жажда власти или жажда жертвы. Даже у детей Достоевский подчеркивает садизм и мазохизм, как две стороны одной и той же эмоции: маленькая княжна Катя мучает Неточку Незванову, но это лишь проявление ее страсти к подруге, а сама Неточка испытывает странное наслаждение от того, что ее терзает девочка, которую

она боготворит. Нищенка Нелли в «Униженных и оскорбленных» готова укусить руку своего благодетеля Ивана Петровича, и ведет себя так, точно ненавидит его, но и это лишь маскарад любви; наполовину отталкивание и притяжение, злоба и нежность. «Любовь-то, — говорит герой «Записок из подполья», — и заключается в добровольном даровании от любимого предмета права над ним тиранствовать». Эта тема звучит с большей или меньшей силой во всех романах Достоевского. Здесь, опять-таки, не может быть ни случайности, ни повторения литературного приема. Его одержимость одной мыслью, его «неподвижная идея», в жизни приобретала маниакальный характер, а психологически коренилась в задержках, комплексах и противоречиях его сексуальной личности. Это совершенно ясно даже и для тех, кто не желает прибегать к методам и терминологии фрейдизма и психоанализа. «Мне от вас рабство — наслаждение, — говорит герой «Игрока» любимой девушке: — есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества... Чорт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо...» «А дикая беспредельная власть — хоть над мухой — ведь это тоже своего рода наслаждение. Человек деспот от природы и любит быть мучителем».

Мышкин обращается к Рогожину в «Идиоте»: «твою любовь от злости не различишь». Рогожин — жертва страстной, полубезумной Настасьи Филипповны, играющей с ним, как с покорной куклой — но он же и убивает ее. У Версилова в «Подростке» любовь к Ахмаковой настолько походит на вражду, что его па-сынок принимает ее за ненависть, чем вызывает презрительный смех многоопытной Татьяны Павловны. В «Вечном муже» у Натальи Васильевны — «гнетущее обаяние... в этой женщине был дар привлечения, порабощения и владычества. Она любила мучить любов-

ников, но любила и награждать». Любовь Ставрогина к хромоножке Марье Тимофеевне, на которой он женится («Бесы») — это смесь издевательства, самоуничижения и любопытства, усиленная желанием поразить и властвовать. Он выбирает полуидиотку, полуинвалида еще и потому, что может рассчитывать на безмерную женскую благодарность, а значит и на беспредельное господство. Старик Карамазов («Братья Карамазовы») находит что-то в «мовешках и вельфилках», т. е. в дурнушках и старых девах, вероятно, по тому же принципу: женщина, на которую никто не обращал внимания, так благодарна мужчине, выбравшему и пожелавшему ее, что в ее ответе — самозабвенная преданность, полная, покорная отдача себя. Это хорошо понимал и Свидригайлов («Преступление и наказание»), переходивший от чисто физического садизма (он бьет хлыстом свою жену) к наслаждению от сознания власти над неопытной девушкой-подростком. Между прочим, сцены насилия и физического садизма встречаются чуть ли не во всех романах Достоевского, а особенно в «Бесах», где Лебядкин нагайкой стегает свою сестру, а Ставрогин, затаив дыхание, смотрит, как из-за него секут розгами двенадцатилетнюю девочку: он потом ее же изнасиловывает.

Боль, страдание, как нераздельная часть любви, мучительство физическое, связанное с половым актом, и мучительство душевное, связанное со всей сентиментальной сферой близости между мужчиной и женщиной, да и между людьми вообще — таким был эрогизм Достоевского в годы его зрелости. Страхов в своем знаменитом письме к Толстому в 1883 году этим объяснял почему, «при животном сладострастии, у у него (Достоевского), не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести». Трудно согласиться с таким резким и категорическим суждением — особенно, если вспомнить таких героинь, как На-

стасья Филипповна, Аглая или, наконец, Грушенька, в которых достаточно женского обаяния. Очевидно, Страхов хотел сказать, что не красота и не прелесть привлекали Достоевского в женщинах, которых он любил или желал, а что они возбуждали и увлекали его чем-то другим. Это другое было — абсолютная незащитность, обещавшая полное подчинение, покорность и пассивность жертвы, или же, наоборот, резкая властность, обещавшая унижение и наслаждение от боли, причиняемой палачом. Между этими двумя полюсами и располагались все колебания и противоречия в отношениях Достоевского ко всем его подругам и возлюбленным. Фрейд в письме к Теодору Рейку справедливо замечает: «обратите внимание на беспомощность Достоевского перед любовью. Он фактически понимает или грубое инстинктивное желание, или мазохистское подчинение, или любовь из жалости». Всё тот же Страхов утверждает, что «его тянуло к пако-стям, и он хвалился ими. Висковатов (П. А., профессор) стал мне рассказывать, как он похвалялся, что... в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка».

Очень многое из садистских и мазохистских склонностей Достоевского смущало и даже страшило его самого, хотя он и был уверен, что жестокость, любовь к мучительству, а также и сладострастие самоуничтожения — в природе человека, а потому естественно, как и прочие пороки и инстинкты людей. Но он и в себе, и в других открывал такие извилины или преувеличения этих пороков, что убегал в свое подполье, скрывая их от дневного света. Князь Вадковский, циник и злодей «Униженных и оскорбленных», демоническая личность, предвещающая и Раскольникова и Ставрогина, говорит Ивану Петровичу:

«Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б

могло быть, чтоб каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы такой смрад, что нам бы всем надо было бы задохнуться. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и приличия. В них глубокая мысль, не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность, в сущности, тот же комфорт, т. е. изобретена единственно для комфорта».

Это Достоевский писал в 1861 г.: через два года он вывел человека, который пожертвовал комфортом, отбросил его и осмелился признаться в своих сокровенных желаниях и действиях — и какую же страшную и умную, трагическую и отвратительную фигуру нарисовал он в герое одного из самых замечательных своих произведений — в «Записках из подполья». Но герой этот пытался испробовать свои теории на жалкой проститутке Лизе; он впервые увидел ее в публичном доме и измывался над ней мелко и гнусно, с ужасом сознаваясь в своей любви к несчастной. А Достоевский имел случай убедиться в силе и глубине собственных инстинктов при встрече с женщиной, не уступавшей ему ни в сложности чувств, ни в остроте чувственности, ни в воле к власти. Столкновение с ней и вызвало самую бурную любовную драму его жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда Достоевский обосновался в Петербурге, радикальная молодежь эпохи еще не отдавала себе отчета в перемене его политических взглядов и видела в нем жертву царского режима. Бывший смертник и участник кружка Петрашевского казался героем и был окружен ореолом мученичества. Его публичные чтения на студенческих вечерах — и особенно главы «Записок из мертвого дома», воспоминания о каторге, — пользовались большим успехом. В этой обстановке подъема, шумных аплодисментов и оваций Достоевский познакомился с той, кому суждено было сыграть такую роль в его судьбе. После одного из его выступлений к нему подошла стройная молодая девушка с большими серо-голубыми глазами, с правильными чертами умного лица, с гордо закинутой головой, обрамленной великолепными рыжеватыми косами. В ее низком несколько медлительном голосе и во всей повадке ее крепкого плотно сбитого тела было странное соединение силы и женственности. Ее звали Аполлинурия Прокофьевна Сулова, ей было 22 года, она слушала лекции в университете. Дочь Достоевского утверждает, что Аполлинурия написала ее отцу «простое, наивное и поэтическое письмо — объяснение в любви... В нем видна была робкая молодая девушка, ослепленная гением великого писателя. Письмо это взволновало Достоевского: оно пришло как раз в тот момент, когда такое объяснение в любви было так ему необходимо».

В том, что Аполлиария первая предложила свое сердце Достоевскому, нет ничего удивительного или неправдоподобного: во всех странах, во все времена юные девушки «обожают» известных писателей и артистов и делают им признания — письменно и устно. Правда, и по возрасту, и по складу характера Аполлиария как будто не могла принадлежать к секте восторженных поклонниц, да и предмет ее не был красивым тенором или задумчивым поэтом. Если она даже и написала Достоевскому письмо (а это было на нее похоже — сделать первый шаг), то значит в личности и творчестве писателя ее привлекли какие-то особые черты: либо они вызывали непосредственный отклик в ее воображении, либо она их угадывала. Во всяком случае, Достоевский ей ответил, и они стали видаться — сперва в редакции журнала, затем в доме брата Михаила и, наконец, наедине. Аполлиария немного занималась литературой, и в сентябре 1861 г. во «Времени» появился ее рассказ «Покуда». Этот слабый и мало оригинальный очерк не отличался никаким художественными достоинствами: очевидно, редактор журнала имел особые основания содействовать дебюту и дальнейшему сотрудничеству своей молодой знакомой («До свадьбы» — второй рассказ Суловой — был напечатан в 3-ей книжке «Времени» за 1863 год). Аполлиария, повидимому, произвела на Достоевского сильное впечатление, может быть, «ушибла» его, как впоследствии выражался В. Розанов — и не одной только наружностью: она в самом деле была человеком незаурядным.

Конечно, Достоевский прежде всего должен был почувствовать очарование ее красоты и молодости. Он был на 20 лет старше ее, и его всегда тянуло к очень молодым женщинам. Во всех его романах — героини очень юные и любят их пожилые мужчины. Этой темой открылась его литературная деятельность: в «Бедных

людях» Макар Девушкин почти вдвое старше Варвары. Впоследствии Достоевский неоднократно описывал всевозможные вариации влюбленности зрелого или старого человека в молодую девушку. Иногда это была хорошая горячая любовь (полковник Ростанев и гувернантка в «Селе Степанчиково»), иногда прихоть выжившего из ума развратника (князь в «Дядюшкином сне») или позднее желание сластолюбца (старик Карамазов и Грушенька). От Свидригайлова с его страстью к Дуне, до Версилово с его двойственной любовью к Катерине Николаевне, Достоевский постоянно возвращался к мотиву любовных отношений между мужчиной и женщиной со значительной разницей в возрасте. Марья Дмитриевна была лишь на четыре года моложе его, и весьма возможно, что именно после брака с нею он, по контрасту, испытывал особенное тяготение к молодости. Свои сексуальные фантазии Достоевский всегда переносил, «объективировал», на молодых девушек. Независимо от того, насколько справедливо предположение, будто и сам он знал подобные соблазны, он отлично понимал и описывал (Свидригайлов, Ставрогин) физическую страсть зрелого мужчины к подросткам и двенадцатилетним девочкам.

Аполлинария была очень хороша собою, в каждом ее движении сквозила та неуловимая, раздражительная сила, которую американцы называют «призывом пола», а французы «обещанием счастья». В том, что плотское притяжение было основой интереса Достоевского к Аполлинарии, сомневаться не приходится. Она сразу возбудила в нем желание — неизменно нарастающее и перешедшее в телесную страсть.

Но эта эротическая сторона их отношений тотчас же была подкреплена и осложнена эмоциями другого порядка.

Аполлинария была девушкой из народа, в ней про-

являлась мужицкая стойкость и закал, ее происхождение делало ее необычайно типичной, русской, и это очень притягивало Достоевского, с его националистическими и народническими мечтаниями, которые именно в эти годы всё более и более развивались в нем. До сих пор ему приходилось по преимуществу встречать женщин из дворянской или чиновной среды.

Отец Аполлинаруи, Прокофий Суслов, из села Панино, Нижегородской губернии, был крепостным графов Шереметьевых. Ему удалось внести выкуп за себя и за семью и выйти на волю. Он поступил на службу к своим прежним господам. Умный, энергичный волжанин быстро пошел вверх и еще до освобождения крестьян сделался управляющим именьями и делами Шереметьевых. В шестидесятых годах он переехал в Петербург, стал зажиточным купцом, а потом и собственником фабрики в Иваново-Вознесенске. Детям — двум дочерям и сыну — он дал отличное воспитание, возможно, что на средства, специально для этого отпущенные графом Шереметьевым (об этом есть указания в Архивах Третьего Отделения). Дочери сперва учились в Москве, в частном пансионе госпожи Генникау, где главное внимание обращали на языки и манеры. Затем обе сестры решили получить высшее образование: Аполлинурия поступила в Петербургский университет, а Надежда, бывшая на три года моложе, в Военно-Хирургическую Академию.

Аполлинурия была представительницей нового поколения: в ее словах и поведении Достоевского привлекала, а порою и ужасала психология молодежи, выросшей, когда он прозябал в Сибири. Встречаясь с сестрами Сусловыми и их друзьями, он вошел в соприкосновение с теми нигилистически настроенными юношами и девушками, которых он не мог принять идеологически; он отвергал и опровергал их воззрения иконокластов и атеистов, он полемизировал с ними в

романах и статьях, но он не мог оторваться от них, и было что-то болезненное в том, как они завладевали его воображением. Здесь опять-таки проявилась его эмоциональная раздвоенность: он любил тех, кого должен был ненавидеть, и всего ближе ему были те самые революционеры, которых он разоблачал и бичевал. Они привлекали его внутренним огнем, горевшим в их речах, бессознательным идеализмом, сквозившим в их якобы цинических словах и нравах. В них дышал задор и пыл сильных, ищущих и растущих натур. Это он особенно угадывал в Аполлинарии. Освободительные идеи века, подчеркивание свободы личности от всяких уз — семейных, нравственных, общественных — нашли в ней горячее признание, потому что они соответствовали ее индивидуальности. В Аполлинарии был сильно развит тот самый максимализм — во взглядах, чувствах, требованиях к окружающим, — который Достоевский так хорошо понимал, постоянно изображал в своих героях и считал исконной чертой русского характера. В Аполлинарии сочетались воля и идеализм. Она могла идти до конца в том, что считала правильным, пренебрегая условностями и удобствами, — и в то же время в ней жила наивная мечта о совершенстве, порывы страстной, почти экзальтированной натуры. Внешне она была медлительна, сдержанна, жесты ее были скупы, почти ленивы, она часто казалась апатичной, томной, — но внутри всё у нее волновалось и кипело. Она была независима, умна и бесконечно горда и самолюбива. Вероятно, на почве гордости и самостоятельности, доходившей до эгоцентричности, и разыгрался конфликт, в конце концов, разрушивший ее любовь к Достоевскому.

Судя по разным указаниям в ее дневнике и письмах, она «ждала» до 23-х лет. Иными словами Достоевский был ее первым мужчиной. Он был также и ее первой сильной привязанностью. Она потом рассказы-

вала за границей мало знавшим ее людям, что до 23-х лет никого не любила, и что ее первая любовь была отдана сорокалетнему человеку: на внешность и возраст она внимания не обращала. Аполлинаруия, как всё окружение Достоевского, о котором писал Страхов, не видела ничего дурного в свободе тела, и если она оставалась девушкой до знакомства с Достоевским, то причиной этому были не моральные запреты, а отсутствие того, кого она могла бы полюбить. А раз она любила, никакого вопроса о физическом сближении для нее не существовало: оно в ее глазах было нормально и естественно, и она отдалась, «не спрашивая, не рассчитывая». По всей вероятности, окончательное сближение между ней и Достоевским произошло после его возвращения из заграницы, осенью 1862 года. В начале 1863 года они уже были любовниками. Достоевский, конечно, не строил себе никаких иллюзий насчет своей чисто мужской привлекательности. Дон Жуанские замашки ему были чужды, и ему стоило поглядеть на себя в зеркало, чтобы тотчас же придти к заключению: не своей внешностью мог он завоевать сердце молодой девушки. Вот как описывает его одна современница:

«Это был очень бледный, землистой, болезненной бледностью, не молодой, очень усталый или больной человек, с мрачным измученным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряженно сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице со впалыми щеками и широким возвышенным лбом, одухотворен был чувством и мыслью. И эти чувства и мысли просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был точно замкнут на ключ: никаких движений, ни одного жеста, только тонкие бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил. А общее впечатление с первого взгляда

почему-то напоминало мне солдата из «разжалованных», каких мне не раз приходилось видеть в детстве, — вообще напоминало тюрьму и больницу».

Когда он оживлялся, он кусал усы, ощипывал жидкую русую бородку, и лицо его передергивалось.

Но Аполлиария не искала в нем красоты или физического обаяния. Впрочем, ей нравились некоторые его особенности: у него были разные глаза, левый — карий, а в правом зрачок так расширен, что радужины не было заметно. Эта двойственность глаз придавала его взгляду некоторую загадочность. У него были очень крепкие, хотя и небольшие, руки: он сжимал ее в объятиях до боли. Вообще он был очень силен физически, когда чувствовал себя хорошо, но после припадков падучей становился слабым, как ребенок.

Аполлиария видела в нем писателя, известность которого всё увеличивалась, она угадывала, если и не целиком понимала, огромный моральный и умственный размах его произведений, и весь ее подспудный идеализм, вся романтика «нигилистки», скрывавшей мечты под личиной холодной практичности и рационализма, неудержимо влекли ее к этому некрасивому и больному сорокалетнему мужчине. Было у нее, к тому же, и ощущение, что она нашла возлюбленного себе под стать, не как у всех, и ей льстило, что Достоевский был в нее влюблен — об этом знали приятели-студенты. Но были еще и подсознательные влечения: инстинктивно угадывала она в нем родственную натуру мучителя и жертвы, и скрытые черты его эротической личности в какой-то мере соответствовали еще не осознанным, еще не проявленным противоречиям ее собственной половой индивидуальности. В ней был какой-то излом — соединение темперамента с холодностью, полового любопытства с физической брезгливостью. В жестах любви ее возмущала подчиненность самки самцу. Она и в постели не могла забыть, от-

даться до конца, а, главное, признать и принять силу и власть мужчины.

Она пошла к Достоевскому по природной тяге и умственному выбору, но именно в половой области ждало ее разочарование. Достоевский разбудил, но не удовлетворил ее сексуально. Он раскрыл ей телесную любовь, посвятил в тайны близости между мужчиной и женщиной, — но именно в часы этой близости увидела она странные и быть может пугающие стороны его натуры, которые ее отталкивали или оскорбляли. Они подходили друг к другу душевно, эмоционально, но не сексуально. Достоевский писатель, мыслитель был выше нее, и она им восхищалась и ставила на пьедестал. Но этот образ друга и наставника искажался от опыта интимности. Достоевский — любовник то был сентиментален, слаб, то обращался с ней, как с вещью и обижал своими эксцессами. Его особенности она принимала за обычные требования сладострастия, и они зачастую внушали ей инстинктивное отталкивание. И в то же время он так отделял физическое от всего остального, что пол становился чем-то второстепенным, а сладострастие — размеренным. Их половые отношения были лишены всякой романтики. Слишком многое огорчало и унижало молодую девушку в ее первом мужчине: он подчинял их встречи писанию, делам, семье, всевозможным обстоятельствам своего трудного существования. Он говорил, что больше не живет с женой, но постоянно думал о Марье Димитриевне и принимал нелепые, преувеличенные меры предосторожности, чтобы не нарушить ее покоя. Как это всегда бывает, Марья Димитриевна, без всякого основания ревновавшая его ко всем другим женщинам, и не подозревала, что он изменял ей с молодой студенткой, и Достоевскому удалось скрыть от нее свою связь.

Всячески заботясь о жене, он ничем не жертвовал для Аполлинии. В жизни его ничто не изменилось,

по крайней мере внешне: ежедневное расписание, привычки, занятия — всё осталось попрежнему. Аполлинару это раздражало. К Марье Димитриевне она ревновала глухой и страстной ревностью — и не хотела принимать объяснений Достоевского, что он не может развестись с больной, умирающей женой. Она не могла согласиться на неравенство в положении: она отдала для этой любви всё, он — ничего. Никакого размаха, никакого опьянения не чувствовала она в их свиданиях, регулярных и тайных, тщательно скрытых от чужого взора. И в регулярности и в тайне было что-то унижительное. «Наши отношения для тебя были приличны, — написала она ему позже, — ты вел себя, как человек серьезный, занятой, который по-своему понимает свои обязанности и не забывает и наслаждаться, напротив, даже, может быть, необходимым считал наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц».

Эта методичность объятий, эта размеренность, почти пунктуальность в «грехе», в том стыдном и темном, к чему она прикоснулась через него, и удивляла и угнетала ее. И кроме того, физическая любовь пришла к ней не в виде избытка жизненной силы, не в радости освобожденной и здоровой плоти, не в образе крылатого и смеющегося Эроса, а в судорогах сладострастия, распаленного болезнью и мрачным воображением, в гримасах и столах полубезумного израненного Диониса. Вместо разумной простоты, о которой все толковали вокруг, или тех идеалов духовности, о которых ей, шестидесятинице и эмансипированной женщине, не полагалось и заикаться, хотя она «несла их в сердце своем», она столкнулась с запретной и страшной стихией пола. Опять-таки: несмотря на все рассуждения о свободе и праве на устройство жизни, как хочется, несмотря на презрение к условностям и проповедь

полового «реализма», девушки, да и юноши 60-х годов были настроены скорее пуритански — и уйти от этого внутреннего пуританизма было нелегко, особенно когда учителем искусства любви был такой человек, как Достоевский: он пробудил в ней женщину и возмутил ее глубины, но сделал это так, что она и поддавалась чувственности, и страшилась ее, и видела во власти пола новые цепи, которые мужчина хотел на нее надеть. Достоевский вначале, несомненно, подчинил ее себе, — и физически, как это бывает со взрослым мужчиной, овладевающим неопытной, еще не любившей девушкой, и морально, как старший, умный, знающий. Ведь не даром он всегда утверждал, что в любви нет равенства.

«В отношениях между мужчиной и женщиной, — говорил он в 1879 Опочинину, — одна из сторон непременно терпит, непременно бывает обижена».

Своей корректорше Починковской он объяснял: «брак для женщины всегда рабство. Если она «отдалась», она поневоле уже раба. Самый тот факт, что она отдалась — уже рабство, и она в зависимости от мужчины навсегда». Повидимому он так ощущал и с Аполлинарией, попробовал действовать с нею, как господин, — и тут натолкнулся на резкое сопротивление, потому что она сама была из породы господ, а не рабынь. В этом причина всех дальнейших столкновений, а особенно того сложного чувства, которое потом овладело Аполлинарией и так походило на ненависть и желание мести. Она сама рассказывала, как три года спустя, Достоевский заметил: «если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа». Затем между ними произошла такая беседа: «Припоминая Го (ее знакомого, доктора из Монпелье), я сказала, что это один человек, который не добивался толку (т. е. не пытался спать с ней). Он по обыкновенной манере сказал: «Этот Го, может быть, добивал-

ся». Потом прибавил: «Когда-нибудь я тебе скажу одну вещь». Я пристала, чтоб он сказал. «Ты не можешь мне простить, что раз отдалась и мстишь за это, это женская черта». Это меня очень взволновало».

Конечно, для Достоевского было весьма соблазнительным подчинить себе именно такую женщину, как Аполлинария, это было поинтереснее, чем владеть безгласной рабыней, а отпор лишь усиливал наслаждение. Но в той напряженной борьбе, в какую превратились их отношения, гордость Аполлинаруии постоянно страдала: положение, в котором она очутилась, казалось ей оскорбительным. Основное противоречие было между любовью, как она ее понимала и желала, и проявлениями этой любви, от которых она и краснела, и возмущалась. Всё было некрасиво и нехорошо — встречи в меблированных комнатах, вся обстановка адюльтера при тяжко больной жене, вся эта «незаконная связь» с теми внешними подробностями, от которых на другой день становилось больно и стыдно. Ее также оскорбляло, что он не допускал ее к себе в «лабораторию духа», мало делился литературными планами, что он относился к ней, как к обыкновенной любовнице, что он воспользовался ее свободой и мучил ее, хотел властвовать. Иногда раздражало ее его «косноязычие» или долгое молчание. Некоторые его выходы поражали ее неожиданностью и бесцельностью. Он хорошо знал эти свои недостатки: «Я смешон и гадок, — писал он еще в молодости, — и вечно посему страдаю от несправедливого заключения обо мне. Иногда, когда сердце плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова». Может быть об этом думал Страхов, когда писал в 1876 году: «Почти непонятно, каким образом Достоевский, столько волочившийся и дважды женатый, не может выразить ни единой черты страсти к женщине, хотя и описывает невероятные сплетения и увлечения таких страстей».

Насколько любовь Аполлинаруии шла по ухабам, показывает черновик ее письма от 63 года: «Ты сердишься, просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу (даже) уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать, (ибо) за любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения. Но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу». Она, по его выражению, «не очень-то придерживалась форм и обрядов», и поэтому писала ему с прямою и резкостью. Смысл ее строк совершенно ясен: своих чувств ей нечего было стыдиться, потому что она считала их высокими, красивыми, даже грандиозными, но она не могла принять его отношения к ней, как к любовнице.

Достоевский, конечно, многое понимал или подозревал. Правда, в Аполлинаруии была та же скрытность, что и в нем самом. До конца объяснить было для них невозможно. Вначале он не вполне оценил ее сложность, и всё хвалил ее характер, ум, независимость и требовательность к людям. Впоследствии он несколько изменил и дополнил это свое суждение — по новому увидал он свою подругу.

Возможно, что в первые недели связи он не придавал ей того значения, которое она затем приобрела. Приключение выросло в настоящую страсть. Весною 1863 он уже был так увлечен Аполлинаруией, что не мог дня провести без нее. Она вошла в его существование, она стала ему дорога и физически, и эмоционально, и душевно. Она была всем, что красило его жизнь вне дома. А дома его ждали чахоточная жена, уединение кабинета, и никакой радости или отвлечения. Аполлинаруия и была радостью, волнением, смыслом этих дней и ночей. Он жил теперь двойным существованием, в

двух друг на друга непохожих мирах. Как он справлялся с этой двойственностью, насколько мучился от лжи и вынужденного обмана Марьи Дмитриевны? Никаких сведений о внутреннем состоянии Достоевского в 1862-3 гг. у нас нет, и о нем можно лишь догадываться. Любовь его к Аполлинару, во всяком случае, не была секретом для его братьев; он и говорил, и писал им о ней, и встречался с сестрами Суловыми на квартире у Михаила. Последний покровительствовал связи брата: он не любил Марьи Дмитриевны и всегда считал брак с ней ошибкой. Возможно, что в Аполлинару он видел будущую жену брата.

Весною 1863 года, когда в болезни Марьи Дмитриевны произошел опасный поворот к худшему и ее пришлось перевезти во Владимир, Достоевский и Аполлинурия окончательно решили поехать летом за границу. В Европе, по крайней мере, можно было освободиться от унижений тайной связи и пожить вдвоем на свободе, не таясь.

Но 25 мая 1863 года журнал Достоевского «Время» был закрыт по распоряжению властей, почему-то увидавших опасную крамолу в одной из славянофильских статей на текущие темы, и на главного редактора пали все томительные хлопоты и переговоры по этому делу. Аполлинурия уехала одна, он должен был последовать за ней, но не мог выбраться до августа. Уже один тот факт, что она покинула Петербург, не дождавшись его, показывает на трещину, если не на кризис, в их отношениях. Ее отъезд походил на бегство. Она предчувствовала или надеялась, что в Париже, куда уносил ее поезд, начнется новый период ее жизни. Достоевский вряд ли сознавал это: для него разлука с Аполлинурией была лишь временным перерывом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Всё лето Достоевский рвался за границу, но дела его были настолько плохи, что ему никак нельзя было отлучиться из Петербурга. Возобновить «Время» ему не разрешили, приходилось думать о новом предприятии под другим названием. А покамест нужно было удовлетворять кредиторов, подписчиков и сотрудников и всячески изворачиваться. Для всего требовались деньги — для содержания Марьи Димитриевны во Владимире, для ее докторов и лекарств, для Паши, для квартиры в городе — и для поездки в Париж. А денег не было, и Достоевский снова влез в долги, брал авансы под несуществующие произведения и подписывал самые невыгодные обязательства. Разлука с Аполлинарией только разжигала его страсть. Он мечтал о встрече с ней, о совместной поездке в Италию. Аполлинария всё звала его во Францию и говорила, что горячо любит его. И только в начале августа замолчала, он три недели не имел от нее писем, и это заставило его ускорить отъезд: она явно сердилась, что он так долго собирается.

Когда он, наконец, мог выехать из Петербурга, у него было очень мало денег. И, как всегда, уступая другой своей неодолимой страсти, он решил остановиться по дороге в Париж в Висбадене, чтобы попытать счастья у зеленого стола. Казалось бы, что он должен был, не теряя ни одного дня, спешить на свидание с любимой. Но что-то задерживает его — в стол-

кновении двух страстей, любовной и игорной, последняя берет верх, хотя бы на самый короткий срок. А, может быть, эта задержка была бессознательным выражением каких-то дурных предчувствий.

От 21 до 24 августа Достоевский играет в рулетку. На этот раз ему не только удастся выиграть крупную сумму, но, потеряв затем половину ее, остановиться и во время покинуть Висбаден. У него на руках оказывается свыше пяти тысяч франков. Часть он предназначает жене, на остальные собирается путешествовать с любимой девушкой. Полный радужных надежд, он приезжает в Париж и тотчас посылает Аполлинару записку срочной почтой. Ему не терпится повидать ее, и, не дожидаясь ее ответа, он едет в пансион на левом берегу Сены, где она живет.

Аполлинурия сидела у окна в своей комнате, и вдруг увидала на улице Достоевского: быстрыми шагами он направлялся к ее дому. Через несколько минут горничная сообщила ей, что гость ждет ее в салоне. Она медленно сошла вниз. Вот как она описывает это свидание:

«Здравствуй, — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал меня, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось и беспокойство.

— Я думала, что ты не приедешь, — сказала я, — потому что написала тебе письмо.

— Какое письмо?

— Чтоб ты не приехал...

— Отчего?

— Оттого, что поздно.

Он опустил голову. — Поля, — сказал он после короткого молчания, — я должен всё знать. Пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру.

Я предложила ехать с ним к нему.

Всю дорогу мы молчали. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом «вит, вит», при чем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам пожимал ее и делал какие-то судорожные движения. «Успокойся, ведь я с тобой», — сказала я.

Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая мои колени, говорил: «Я потерял тебя, я это знал». Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек: может быть он красавец, молод, говорун. Я долго не хотела ему отвечать.

— Ты отдалась ему совершенно?

— Не спрашивай, это нехорошо, — сказала я.

— Поля, я не знаю, что хорошо, что дурно. Кто он, русский, француз? Тот?

Я сказала ему, что очень люблю этого человека.

— Ты счастлива?

— Нет.

— Как же это? Любишь и несчастлива. Как, возможно ли это?

— Он меня не любит.

— Не любит! — вскричал он, схватившись за голову в отчаянии. — Но ты не любишь его, как раба, скажи мне это, мне нужно это знать. Неправда ли, ты пойдешь с ним на край света?

— Нет, я уеду в деревню, — сказала я, заливаясь слезами».

И тут она рассказала ему о том, что произошло.

Вскоре после приезда в Париж Аполлинария познакомилась со студентом-медиком, испанцем Сальва-

дором. У него было красивое, мужественное лицо, гордый вид, отличные манеры, она быстро подпала под его обаяние, а затем и влюбилась в него, — что ни день то жарче и сильнее. Это внезапно вспыхнувшее и страстное чувство было, вероятно, в значительной мере основано на контрасте между Сальвадором и Достоевским. Вместо тяжелой и несколько стыдной связи с сорокалетним эпилептиком, вместо идеализации возлюбленного и умственного построения образа, далекого от действительности, она вдруг прикоснулась к латинскому веселью, к ничем незамутненной здоровой чувственности. Это был выход в новый мир. В объятиях Сальвадора она нашла простоту и легкость, и они были так очаровательны после недавней путаницы и сложности. Она еще не подозревала, что простота вырождается в пустоту, а под легкостью скрывается легкомыслие. Ее сердце и тело были глубоко затронуты, для него же это было одно из многочисленных и мимолетных приключений. Следуя своей морали свободы и независимости, Аполлинария смело приняла нахлынувшую любовь и, не колеблясь, отдалась Сальвадору. Добившись своего или, как выражался Достоевский, «толку», Сальвадор стал быстро охладевать: возможно, что пылкость «сумасбродной русской» испугала его, огонь, который он случайно в ней зажег, грозил теперь пожаром, а он вовсе этого не желал. Тут снова возникло трагическое противоречие между тем, чего искала Аполлинария, и тем, что мог ей предложить красивый студент Латинского квартала. Ему — похождение, ей первая страстная любовь, тем более опасная, что была она второй. Он начал избегать ее под всяческими предлогами, а она, еще не понимая до конца, что происходит, но уже угадывая неладное, старалась удержать его — и своей нежностью, и своими ласками, безыскусными или искусственными, от которых ей самой делалось потом тошно и противно. Для нее, самовластной и гордой, бы-

ла невыносима мысль, что ее обманывают и что она должна заплатить за свое увлечение обидой и раскаянием. И она не хотела признаться, что разница между прежним и нынешним была не так уж велика: она бежала от мрачного сладострастия пожилого человека, а попала в сети молодому зверю, у которого ничего, кроме сладострастия, и не было.

Как раз в те дни, когда Достоевский выехал из Петербурга, а затем, от 21 до 24 августа играл в рулетку, она вела подробную запись всего, что она переживала. 19 августа Сальвадор сообщил ей, что ему скоро придется ехать в Америку.

«Хотя я этого и ожидала, он меня поразил: чувство испуга и страдания, должно быть, ясно выразилось на моем лице. Он поцеловал меня. Я закусил губу и сделала невероятное усилие, чтобы не зарыдать... Сейчас получила письмо от Федора Михайловича. Он приедет через несколько дней. Я хотела видеть его, чтобы сказать всё, но теперь решила писать». В тот же день она пишет ему записку и кладет ее в ящик письменного стола: когда Достоевский появится в Париже, она пошлет ему это заранее составленное признание.

До встречи с Сальвадором Аполлинария ждала приезда Достоевского со смешанным чувством боязни и надежды. Иногда она страшилась, что в Париже повторятся петербургские ночи, а иногда, если было скучно, тосковала по нем и желала, чтоб он был рядом с ней. Она готовилась к путешествию по Европе, радуясь, что скоро увидит Швейцарию и Италию. Но едва она влюбилась в Сальвадора, как перестала беспокоиться о Достоевском. Со всем эгоизмом молодости и той жестокостью, которая так была ей свойственна, она даже не предупредила его о случившемся, не написала, что ему, пожалуй, лучше было бы не приезжать. Она отлично понимала, что ее измена будет для До-

стоевского оглушительным ударом. Но в ней была изрядная доля злорадства: ей хотелось причинить боль ее первому любовнику, отомстить ему, показать, что она сильнее его и больше в нем не нуждается. Когда же ее роман с испанцем начал запутываться и грозить неприятностями, если не катастрофой, ее мысли опять обратились к Достоевскому. Теперь она была почти готова вычеркнуть из памяти всё темное и болезненное, что приключилось в Петербурге, и видела один только «сияющий лик» своего друга — его доброту и тонкость, ум и талант. Втайне она жаждала его присутствия: она нуждалась в помощи и совете, хотя эти стремления и не доходили до ее сознания. Получив известие о его близком приезде, она вдруг испугалась и, чтобы избежать неприятного объяснения с глазу на глаз, она, с характерной для нее расчетливостью, предпочла заранее приготовить текст, который должен был в надлежащий момент поставить его в известность о разрыве.

Через три дня, 21 августа, она снова у Сальвадора: «мне показалось в этот раз, что он меня не любит, и у меня явилось сильное желание заставить полюбить себя. Это возможно, только надо действовать хладнокровно». 24 августа она не застаёт его дома и дожидается целый час, не сводя глаз с часовой стрелки, сердце ее бьется, она вздрагивает при каждом шорохе. Сперва она хочет оставить ему письмо, но потом уходит, отказавшись от этого намерения. Вот что она писала в проекте письма: «Все люди, которые меня любили, заставляли меня страдать, даже мой отец и моя мать... Мои друзья все люди хорошие, но слабые и нищие духом, богаты на слова и бедны на дела. (Интересно знать, включала ли она Достоевского в эту категорию). Между ними я не встретила ни одного, который бы не боялся истины и не отступал бы перед общепринятыми правилами жизни. Они также меня осуждают. Я не могу уважать таких людей, говорить

одно и делать другое я считаю преступлением. Я же боюсь только своей совести. И если бы произошел такой случай, что я согрешила бы перед нею, то призналась бы в этом только перед самой собою. Я вовсе не отношусь к себе особенно снисходительно, но люди слабые и робкие мне ненавистны. Я бегу тех людей, которые обманывают сами себя, не сознавая, — чтобы не зависеть от них».

Она хорошо сделала, что не оставила этого письма Сальвадору: предприимчивый испанец, вероятно, не понял бы, о чем говорила русская максималистка.

Когда она вновь приходит к Сальвадору на условленное свидание, его нет дома. Она предчувствует самое худшее, слезы выступают у нее на глазах, — и всё же отказывается поверить, что он избегает ее. Разве не сказал он ей давеча: «Я — обманывать?» — с видом такой оскорбленной гордости, что не могло быть сомнений: обман не в обычае такого человека.

А вернувшись домой, она находит только что принесенную записку от Достоевского: он приехал, он в Париже, он ждет ее. Она тотчас же отправляет по указанному им адресу свое письмо:

«Ты едешь немножко поздно... Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию, даже начала учиться итальянскому языку: всё изменилось в несколько дней. (Сперва она написала «в неделю», потом зачеркнула). Ты как-то говорил мне, что я не могу скоро отдать свое сердце. Я его отдала по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя. Я хочу только сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не знала. Прощай, милый. Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России».

Когда она писала это письмо, ей было грустно. Ей было жаль Федора Михайловича. Она записала в свой дневник: «какой он великодушный! Какой ум, какое сердце!». Но к письму не прибавила ни слова: в нем не было ни нежности, ни даже простой заботы о том, кого она так решительно и резко от себя отбрасывала.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Достоевский слушал этот рассказ, ни разу его не прерывая, сидя в кресле и сжимая ладонями опущенную голову. Когда она закончила, он выпрямился и воскликнул: «О, Поля, зачем же ты так несчастна! Это должно было случиться, что ты полюбишь другого — я это знал... Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое. Ты ждала до 23-х лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей, но чего это стоит: мужчины и женщины не одно и то же, он берет, она дает».

«Когда я сказала ему, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: что ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов. Мы много говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предложил мне ехать в Италию, оставаясь как брат. Когда я ему сказала, что он, верно, будет писать свой роман, он сказал: «за кого ты меня принимаешь? Ты думаешь, что всё пройдет без всякого впечатления!». Я ему обещала придти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня».

Достоевский проводил ее домой, а, вернувшись, нашел ее письмо. И хотя он знал уже всё и оно не могло ничем поразить его, горько было ему читать эти

строки: его глубоко уколола и сухость тона, и жестокость этой письменной отставки.

Только теперь он осознал, что произошло. Так вот для чего он несся в Париж! У него звенело в ушах, голова была, как в тисках, он опасался, что с ним случится припадок.

Всё рушилось вокруг него. Сперва он был точно оглушен катастрофой, затем его охватило отчаяние. Он никак не мог заставить себя сосредоточиться, всё хорошенько обдумать. Кошмары мучили его всю ночь, бессонница была населена бесстыдными видениями, то он видел Аполлинарию, прижимающуюся к чернобровому мужчине, то слышал француза, со смехом бросившего ему в Висбадене: «Мосье, кому везет в игре, не везет в любви». Немудрено, что ему улыбнулось счастье в рулетке — это было тогда, когда его обманывала Аполлинария. Ревность, мука, обида раздирали его, он рыдал, метался в постели, кусал подушку. К рассвету стало легче, от усталости и страдания он как-то отупел. Несколько чашек наскоро выпитого кофе мало прояснили его мысли.

Он лежал на диване, в неудобной комнате парижского отеля, шум и оживление огромной столицы врывались в раскрытое окно, он чувствовал себя одиноким, старым, никому не нужным. Любовь, на которую он столько поставил, обманула его. На этот раз он всё проиграл. Все его ухищрения, надежды, ложь, мучения совести оказались ни к чему. Он снова с горечью и сознанием вины подумал о том, что Марья Димитриевна умирала во Владимире. «Как-то мне грустно теперь и тоска, — пишет он брату через два дня по приезде в Париж, — голова болит при том. Думаю о всех вас, думаю часто и о Марье Димитриевне. Как бы хотелось получить о ней добрые известия. Что-то ее здоровье?».

После ухода Аполлинарии Достоевский, вероятно, вспомнил, как, семь лет тому назад, приехав в Кузнецк,

к Марье Дмитриевне, он застал такое же положение, как и сейчас в Париже. Отчего ситуации описанные в его романах, не только происходили, но и повторялись в его жизни? И какой злой рок тяготел над ним! Опять женщина, которую он любил, изменила ему, и ему приходилось быть ее утешителем и советником и выслушивать ее жалобы на молодого любовника.

Аполлиария приехала к нему на другое утро, и они много разговаривали. Он говорил с ней довольно сурово, резко называя вещи своими именами. «Я не хотела бы его убить, — сказала ему Аполлиария о Сальвадоре, но мне хотелось бы его очень долго мучить». «Полно, — ответил Достоевский, — не стоит, ничего не поймет, это просто гадость, которую нужно вывести порошком, губить себя из-за него, глупо!». Она перевела беседу на другие темы и даже заплакала, когда он сообщил ей о болезни брата. Он обратил на это внимание, потому что она не отличалась особой сентиментальностью и не легкая была у нее слеза. Впрочем, сейчас она находилась в таком нервном состоянии, что от нее можно было ждать и истерики.

Вернувшись от Достоевского к себе в пансион, Аполлиария нашла записку от товарища Сальвадора с извещением, что испанец болен тифом, лежит у знакомых, и видеть его нельзя. А через два дня, на улице, она случайно встретила Сальвадора, веселого и здорового. Так открылся весь обман, и Аполлиария окончательно поняла, что он попросту хотел от нее отвязаться. Она пришла в свою комнату, ее охватило безумие, она кричала «убью его!», потом впала в оцепенение, из которого ее вывел лихорадочный жар. Она с радостью подумала, что заболела, но никакой болезни у нее не было, только растущее желание покончить с собой или убить негодяя. Дочь Достоевского даже рассказывает, будто Аполлиария достала длинный нож и с ним явилась к Достоевскому. Версия самой Аполлиарии не

столь мелодраматична. «Я не спала всю ночь, — пишет она, — и на другой день, в семь часов утра пошла к Достоевскому. Он спал. Когда я пришла, отпер мне и опять лег и закутался. Он смотрел на меня с удивлением и испугом. Я была довольно спокойна. Я ему сказала, чтобы он сейчас же ко мне шел. Мне хотелось рассказать ему всё и просить его быть моим судьей. Я у него не хотела оставаться, потому что ждала Сальвадора. Когда Федор Михайлович ко мне пришел, я вышла к нему из-за завтрака с куском хлеба, который я ела. «Ну, вот видишь, что я спокойна, — сказала я, смеясь». — «Да, — сказал он, — и я рад, но, впрочем, кто тебя разберет!».

Она всё рассказала ему, не утаивая ни одной детали.

«Федор Михайлович сказал, что на это не нужно обращать внимания, что я, конечно, загрязнилась, но это случайность, что Сальвадору, как молодому человеку, нужна любовница, а я подвернулась, он и воспользовался, отчего не воспользоваться, хорошенькая женщина и удовлетворяющая всем вкусам. Федор Михайлович был прав, я это совершенно понимала, но каково же было мне!».

С этого момента она обо всем советуется с Достоевским, конечно, не думая, каково же это было ему! Она спрашивает, как отомстить Сальвадору, читает проект письма, которое должно уязвить его, обсуждает, послать ли ему денег в возмещение того, что он истратил на нее. Между прочим, в черновике письма испанцу она говорит о себе: «я особа некультурная и вполне варварка, так что держитесь от меня подальше».

В эти нелепые дни, когда она плакала на груди у Достоевского о поруганной любви к другому, а он давал ей дружеские указания, как затушить обиду, и было решено, что оба всё-таки поедут в то самое путешествие, о котором они мечтали в Петербурге, на-

десять пожить вдвоем, на воле. Оно осуществлялось теперь совсем не как медовый месяц, при изменившихся обстоятельствах, под знаком горя и боли.

Хотя Достоевский и примирился с тем, что ему приходилось разыгрывать в жизни одну из ролей «Униженных и оскорбленных» и устраивать сердечные дела той самой женщины, которая ему изменила и которую он продолжал любить и желать, он несомненно, надеялся, что во время путешествия ему удастся вернуть ее к себе. Ведь как ни как связь с Сальвадором пришла к драматическому концу, и Аполлинария его потеряла. Соперник превращался теперь в одно лишь воспоминание, да и то затемненное оскорблением и ложью. Почему же в Аполлинарии не могла произойти по отношению к Достоевскому такая же перемена, как некогда с Марьей Дмитриевной в Кузнецке? Подобная развязка казалась тем более вероятной, что с Аполлинарией половая близость была гораздо крепче: он был ее любовником вот уж несколько месяцев — и ее первым мужчиной. Обещая ей быть «как брат», чтобы добиться ее согласия на совместную поездку, он, конечно, скрывал свои истинные намерения. Она, повидимому, хорошо это понимала, но отнюдь не собиралась удовлетворить его желания. Она была настолько унижена всем, что ей пришлось испытать, ее роман с Сальвадором обернулся такой пошлой и некрасивой интригой, что она негодовала на самое себя и готова была на всё, лишь бы покинуть ставший ей ненавистным Париж. А к Достоевскому было у нее смешанное чувство: немножко благодарности, немножко — очень мало — жалости, и некоторое злорадство от ощущения превосходства. В Петербурге он был господином положения, и властвовал, и мучил ее, да и, пожалуй, любил меньше, чем она. А теперь — она это отлично видела — любовь его не только не пострадала, но даже, наоборот, усилилась от ее измены. В не-

верной игре любви и мучительства переменялись места жертвы и палача: побежденная стала победительницей.

Достоевский должен был очень скоро это испытать. Но когда он отдал себе в этом отчет, для сопротивления оказалось слишком поздно, и к тому же вся сложность отношений с Аполлинарией сделалась для него источником тайной сладости. Его любовь к молодой девушке вступила в новый жгучий круг: страдать из-за нее стало наслаждением.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Достоевский и Аполлиария выехали из Парижа четвертого или пятого сентября 1863 года, а шестого очутились уже в Баден-Бадене. Там находился Тургенев, но Достоевский не познакомил его со своей подругой. Брату он написал: «Тургенев А/поллиарии/ П/рокофьевны/ не видел. Я скрыл». Немедленно по приезде Федор Михайлович отправился в игорные залы и в два дня спустил всё, что у него было. Рулетка нужна была ему на этот раз, как разряд, как освобождение от других страстей, раздиравших его. 8-го сентября он уже сообщал в Россию, что проигрался дотла и просил перевести ему хотя бы сто рублей из денег, посланных Марье Дмитриевне. Он очень боится, что из-за этих денег выйдет путаница, и Марья Дмитриевна устроит какую-нибудь неприятность Михаилу. Опасается он также и того, что «Марья Дмитриевна сделала расход в надежде на деньги, а денег-то нет. Положение! Трепещу от этого. Хоть бы кто меня о ее здоровьи уведомил». Он с Аполлиарией всё дрожали, что им подадут счет из отеля, у них не было ни копейки, он заложил часы, а она свое кольцо. Наконец, деньги пришли, они могли продолжать путешествие. В начале его Достоевский был в хорошем настроении. «Ты спрашиваешь, почему я так скоро оставил Париж, — пишет он брату, — во-первых, он мне омерзел, а, во-вторых, я сообразовался с положением особы, с которой я путешествую». Поскольку «особа» была рядом, его не сму-

щали ни безденежье, ни проигрыш. Впрочем, в Баден-Бадене не было ему удачи ни в рулетке, ни в другой, более опасной игре. Вот что об этом писала Аполлинария:

«Путешествие наше с Федором Михайловичем довольно забавно; визируя наши билеты, он побранился в папском посольстве; всю дорогу говорил стихами, наконец, здесь, где мы с трудом нашли две комнаты с двумя постелями, он расписался в книге «*officier*», чему мы очень смеялись. Всё время он играет на рулетке и вообще очень беспечен. Дорогой он сказал мне, что имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. На это я ему ничего не сказала, но знала, что этого не будет. Ему понравилось, что я так решительно оставила Париж, он этого не ожидал. Но на этом еще нельзя основывать надежды — напротив. Вчера вечером эти надежды особенно высказались. Часов в десять мы пили чай. Кончив его, я, так как в этот день устала, легла на постель и попросила Федора Михайловича сесть ко мне ближе. Мне было хорошо. Я взяла его руку и долго держала в своей. Он сказал, что ему так очень хорошо сидеть. Я ему говорила, что была к нему несправедлива и груба в Париже, что я как будто думала только о себе, но я думала и о нем, а говорить не хотела, чтобы не обидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же внезапно воротился и сел.

— Ты ж куда хотел идти? — спросила я.

— Я хотел закрыть окно.

— Так закрой, если хочешь.

— Нет, не нужно. Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он со странным выражением.

— Что такое? Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволновано.

— Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.

— Ах, зачем это! — сказала я в сильном смущении, почти испуге, и подобрала ноги.

— Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.

Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, и я ему сказала это.

— И мне неловко, — сказал он со странной улыбкой.

Я спрятала свое лицо в подушку. Потом я опять спросила, придет ли горничная, и он опять утверждал, что нет.

— Ну, так поди к себе, я хочу спать, — сказала я.

— Сейчас, — сказал он, — но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала.

— У тебя не будет огня, — сказал он.

— Нет, будет, есть целая свечка.

— Но это моя.

— У меня есть еще.

— Всегда найдутся ответы, — сказал он, улыбаясь, и вышел.

Он не затворил своей двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить мое окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеваться.

— Я разденусь, — сказала я, делая вид, что только дожидаясь его ухода.

Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Сегодня он напомнил мне о вчерашнем дне и сказал, что был пьян. Потом он сказал мне, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом

предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадёжности. Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он, верно, казался мне глуп, что он сам сознает свою глупость, но она бессознательна».

Самооправдание это никого не могло обмануть, и Аполлинария должно быть улыбалась исподтишка, когда Достоевский объяснял ей свое поведение хмелем: до этого он распивал с ней чай, и если был пьян, то не от вина. У него кружилась голова от того, что он всё время был бок о бок с красивой молодой женщиной, бывшей его любовницей, и ставшей сейчас вдвое соблазнительней. Как многих мужчин, мысль о том, что любимая женщина изменила ему и принадлежала другому, не только не отталкивала или внушала отвращение, но делала ее еще притягательнее и желаннее, точно падение наделило ее какой-то особой, тайной и стыдной эротической прелестью. Он никогда еще не был так уязвлен Аполлиной, как женщиной, никогда так не желал ее, как во время этого путешествия, когда они были точно молодожены — во всём, кроме самого главного. В «Игроке» учитель Алексей Иванович так описывает Полину, в которую он влюблен:

«Хороша-то она, впрочем, хороша: кажется хороша. Ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная. Очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать и перегнуть надвое. Следок ноги у нее узенький и длинный, мучительный. Именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком. Глаза настоящие кошачьи, но как гордо и высокомерно умеет она ими смотреть».

Эпизод с неосуществившимся поцелуем ноги и строки о «мучительном» следе Полины очень характерны для Достоевского: у него были несомненные черты фетишизма, и женская нога, и раньше и позже, составляли для него предмет жгучего эротического возбуждения.

Ежедневное общение с Аполлинарией физически распаяло Достоевского, и он, действительно, сгорал на медленном огне своей неудовлетворенной страсти. И в то же время он стыдился ее, считал свое желание моральной слабостью, казнил, что не оправдал доверия подруги, не сумел остаться на духовной высоте братской нежности. А поведение Аполлинарии смущало и волновало, потому что она ничуть не помогала ему побороть дурные инстинкты и обуздать порывы. Наоборот, она вызывала их, дразнила его, испытывала над ним свою власть и отказывала ему в физической близости с едким удовольствием. Впрочем, это не составляло для нее никакого труда. Ее первая запись в Дневнике по приезду в Баден: «Мне кажется я никого никогда не люблю». Она вспоминает слова Лермонтова: «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка». Ей ненавистны все мужчины, и она вымещает злобу от только что пережитой неудачи на Достоевском. С насмешкой, в которой всё усиливался холодок презрения, она смотрела на его наивные попытки овладеть ею, на приступы его вожделения. Ей нравилось играть с ним, доводить его до самого края, а потом отталкивать, вообще, обращаться с ним, как укротительница с опасным зверем. В этом было особое сладострастие, и Достоевский прекрасно понимал его. У нее всегда было к нему двойственное отношение, — и вот сейчас оно раскрылось, со всеми вариациями жестокости и деспотизма. Достоевский до тонкости знал то, о чем говорит герой его «Игрока»: «всё это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, — эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение, иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях и откровенностях».

Иногда напряженность проходила, наступал мир, Федор Михайлович расхаживал по комнате и напевал романсы вполголоса, большей частью повторяя то, что играли за окном на шарманке. По вечерам, если они сидели дома и оба были в мирном настроении, он приносил фрукты, груши, которые он очень любил, и сласти — изюм, орехи, финики, — рассказывал о разном. Он любил вспоминать смешные эпизоды из своего детства, например, о том, как в Даровом его отец перед сном приходил к сестрам Вере и Александре и смотрел, не спрятан ли у них кто под кроватью. И он, улыбаясь, делал вид, что заглядывает под кровать Аполлинару. Она улыбалась, но отлично знала, что он ревнив до сумасшествия и следит за нею, когда она идет одна в музеи или магазины. Это и смешило и раздражало ее. Бывали моменты, когда и Аполлинурия испытывала нечто, похожее на угрызения совести. Она вспоминала о тех нравственных требованиях, которые и она, и ее сестра когда-то считали правильными. Сейчас она сомневается в их необходимости:

«Вообще тот катехизис, который я прежде составила и исполнением которого гордилась, кажется мне очень узким... Федор Михайлович проигрался и несколько озабочен, что мало денег на нашу поездку. Мне его жаль, жаль отчасти, что я ничем не могу заплатить за эти заботы, но что же делать — не могу. Неужели же на мне есть обязанность — нет, это вздор».

Иногда, хотя и очень редко, в ней действительно пробуждалась жалость к ее измученному спутнику и она переставала терзать его: «на меня опять нежность к Федору Михайловичу, — пишет она через десять дней после Баден-Бадена, в Турине, — я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что неправа, мне хотелось загладить эту вину, я стала нежна с ним. Он отозвался с такой радостью, что это меня тронуло, и

стала вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: «Вот это знакомый взгляд, давно я его не видел». Я склонилась к нему на грудь и заплакала.

Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала урок, сказал: «Ну, вот, представь себе, такая девочка со стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город!» Всегда так было на свете».

Но нежные ее порывы длились недолго, и Достоевский вновь имел возможность убедиться, как мало милосердия не только в Наполеоне, но и в молодой женщине с кошачьими глазами. В Риме опять разыгрывается сцена, которую она заносит в Дневник:

«Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Я сказала, что тут есть одна причина, которой прежде мне не приходилось высказывать. Потом он сказал, что меня заедает утилитарность. Я сказала, что утилитарности не могу иметь, хотя есть некоторое поползновение. Он не согласился, сказав, что имеет доказательства. Ему, повидимому, хотелось знать причину моего упорства. Он старался ее отгадать.

— Ты знаешь, это не то, — отвечала я на разные его предположения.

У него была мысль, что это каприз, желание помучить.

— Ты знаешь, — говорил он, — что мужчине нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться.

Я не могла не улыбнуться и едва не спросила, для чего он это говорил.

— Всею этому есть одна главная причина, — начал он положительно (после я узнала, что он был уверен в том, что говорил), — причина, которая внушает мне омерзение, — это полуостров (Сальвадор).

Это неожиданное напоминание очень взволновало меня.

— Ты надеешься.

Я молчала.

— Я не имею ничего к этому человеку, потому что это слишком пустой человек.

— Я нисколько не надеюсь, мне нечего надеяться, — сказала я, подумав.

— Это ничего не значит, рассудком ты можешь отвергать все ожидания, это не мешает.

Он ждал возражения, но его не было, я чувствовала справедливость этих слов.

Он внезапно встал и пошел лечь на постель. Я стала ходить по комнате. Мысль моя обновилась, мне, в самом деле, блеснула какая-то надежда. Я стала, не стыдясь, надеяться...

Проснувшись, он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю обидную грусть и насолить мне. Я с недоумением смотрела на его странные выходки. Он будто хотел обратить всё в смех, чтобы уязвить меня, но я только смотрела на него удивленными глазами.

— Нехороший ты какой-то, — сказала я, наконец, просто.

— Чем? Что я сделал?

— Так, в Париже и Турине ты был лучше. Отчего ты такой веселый?

— Это веселость досадная, — сказал он и ушел, но скоро пришел опять.

— Нехорошо мне, — сказал он серьезно и печально, — я осматриваю всё как будто по обязанности, как будто учу урок; я думал, по крайней мере, тебя развлечь.

Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.

— Нет, — сказал он печально, — ты едешь в Испанию.

Мне как-то страшно и больно сладко от намеков о Сальвадоре. Какая, однако, дичь, во всём, что было между мной и Сальвадором. Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне.

Федор Михайлович опять всё обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унижительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи, я раздетая лежала в постели). «Ибо Россияне никогда не отступали».

Эта циническая фраза едва могла скрыть всю горечь и обиду Достоевского. Неизвестно, все ли сцены, во время которых она лежала раздетая, кончались таким же образом. Но даже, если Аполлинария иногда и соглашалась уступить ему, большой радости это принести не могло: она была способна на другое утро обращаться с ним холоднее и суше, чем обычно. За каждое объятие он должен был расплачиваться дорогой ценой, и короткий миг обладания только подтверждал то, чего он не хотел признать, но ощущал всем существом: она его больше не любила физически, у него не было над нею никакой власти, и чем жарче горела его кровь, тем ожесточеннее мучила она его своей холодностью и враждой. Да и сам он порою ненавидел ее, особенно после бесед о Сальвадоре, или о Петербурге, о том, чего больше никогда не будет. «Да, она была мне ненавистна, — говорит герой «Игрока», — бывали минуты (а именно, каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился б за него с наслаждением. А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге... она действительно сказала мне «бросьтесь вниз», то я тотчас же бросился бы, и даже с наслаждением».

Из Турина, через Геную и Ливорно, они отправи-

лись в Неаполь на пароходе, а из Неаполя поехали в Рим. Они путешествовали по Италии, они бродили по стране влюбленных и поэтов, но восхищение от красот природы и искусства не обращалось у них в нежность, не питало страсти. Наоборот, их иногда тяготило, что от этих южных небес, великолепия красок и богатства человеческих творений исходил такой чувственный призыв к счастью и радости. Они не были в гармонии с краем «лавра и лимона», и оттого еще резче ощущали свою телесную и душевную неустроенность. Аполлинария тайно мечтала о том, как Сальвадор вернется к ней и как она его накажет. Достоевский, после каждого мига мнимой близости и беззаботности, вспоминал Марью Димитриевну. Он пишет брату: «о подробностях моего путешествия вообще расскажу на словах. Разных приключений много, но скучно ужасно, несмотря на А. П.! Тут и счастье принимаешь тяжело, потому что отделился от всех, кого до сих пор любил и по ком много раз страдал». Впрочем, он меньше думал бы о жене, если бы счастье было у него действительно под рукой. Но в трудные минуты он сознавал, что его скитания с Аполлинарией походили скорее на крестный путь, чем на любовную поездку. И тогда всё происшедшее представлялось ему возмездием за нарушенный закон христианского милосердия и справедливости. «Искать счастье, бросив всё, даже то, чему мог быть полезным — эгоизм, и эта мысль отравляет теперь мое счастье — если только есть оно в самом деле». Этим меланхолическим вопросом заканчивает он свое письмо из Турина от 20 сентября: в Турине жизнь его с Аполлинарией была особенно тяжела.

В конце сентября они оказались в Риме, и Достоевский пишет оттуда Страхову, прося о высылке денег: «у меня есть и другие обстоятельства, т. е. другие здесь траты, без которых мне совершенно невозможно обойтись». Это глухое упоминание об Аполлинарии —

единственное в письме к чужому человеку. В этом же письме есть указания о первом проекте «Игрока»: характер героя гораздо более сложный чем тот, каким он был наделен впоследствии, и нет ничего об его отношениях к Полине. В эти же недели, в конце путешествия, Достоевский обдумывает «Записки из подполья».

Из Неаполя 6 октября они возвратились в Геную и на пароходе встретили Герцена с семьей. Достоевский представил ему Аполлиарию, как свою родственницу. «Он вел себя со мной при них, как брат, даже ближе, — пишет она, — что должно было несколько озадачить Герцена». Судя по письму Герцена от 17 июня 1865 года, он нашел Аполлиарию «очень умной».

«В день отъезда из Неаполя, — рассказывает она в своем Дневнике, — мы с Федором Михайловичем поссорились, а на корабле, под влиянием встречи с Герценом, которая нас воодушевила, объяснились и помирились (дело было из-за эмансипации женщин). С этого дня мы уже не ссорились, я была с ним почти как прежде и расставаться с ним мне было жаль».

Что означают эти строки, которыми заканчиваются записи Аполлиарии о поездке в Италию? Если принять во внимание ее дальнейшие замечания об ее друге, можно предположить, что между ними осуществилась та физическая близость, которой так добивался Достоевский, и этого она ему никогда не могла простить. Впрочем, она не могла ему простить и другого. Через двадцать с лишком лет, на вопрос Розанова, почему она, в конце концов, разошлась с Достоевским, она ответила:

«— Потому что он не хотел развестись со своей женой, чахоточной, так как она умирала.

— Так ведь она умирала.

— Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я его уже разлюбила.

— Почему разлюбили?

— Потому, что не хотел развестись... Я же ему отдалась, любя, не спрашивая, не рассчитывая, и он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула».

Расстались они в конце октября, когда Достоевскому необходимо было возвратиться в Россию. Из Турина они поехали в Берлин. Оттуда Аполлинария отправилась в Париж, куда она приехала 22 октября. Достоевский же оказался в Гамбурге, где снова окупнулся в азартную игру и потерял последние деньги. 26 октября Аполлинария получила его письмо с мольбой о помощи. У нее самой в этот момент с деньгами было туго, и ей пришлось заложить часы с цепочкой, чтобы спешно выручить незадачливого игрока. Без ее срочного содействия ему не удалось бы в назначенный срок добраться до Владимира, где его ждала похожая на тень Марья Димитриевна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рассказывая англичанину Анстею о своих отношениях с Полиной, герой «Игрока» замечает: «всё было фантастичное, неосновательное и ни на что непохожее». Эти слова, как нельзя лучше, подводят итог путешествию Достоевского по Европе. И тем не менее, а может быть именно из-за этого, он вернулся домой гораздо более захваченный Аполлинарией, чем прежде. Тут действовал не только математический закон, по которому любовное притяжение прямо пропорционально количеству и силе тех переживаний, какие вызывает в нас «предмет любви», — независимо от того, радостны или печальны эти переживания, связаны с наслаждением или страданием. Ценность любимой женщины растет в зависимости от того, сколько чувств и мыслей мы ей отдали, на нее потратили. Грубые натуры при этом считают и деньги, которые они израсходовали, а экономисты сравнивают любовь с вложением капитала, от размеров которого, естественно, повышается ценность предприятия. И, конечно, Аполлинария стала тем более дорога Достоевскому, что с нею теперь были связаны все бури души и тела последних месяцев.

Но главным было то соединение физического желания и воображения, без которого Достоевский не мог испытывать подлинной страсти. Аполлинария занимала его умственно и эмоционально так же сильно, как возбуждала телесно. Гумилев писал о женщине,

«которой нам дано сперва измучиться, а после насладиться». С Аполлиарией у Достоевского сперва пришло наслаждение, но едва он успел насладиться, как начал мучиться. Раздражение постоянной близости, воспоминание о недавней физической интимности, ревность к другому, кому она только что отдалась, оскорбленное мужское самолюбие, надежда на будущее, обещание счастья при первом проблеске ее нежности, и затем отчаяние от ее холода и безразличия — он прошел через всю эту драму неразделенной любви и неутоленного желания. Иной раз, в порыве смирения и самоуничижения, он готов был всё принять, всё стерпеть, лишь бы она позволила ему целовать ее ноги, подол ее платья. Но после этого мучительного и сладкого рабства приходило восстание гордости, возмущение собственной слабостью. Рассудок и опыт предупреждали Достоевского, что воскресить прошлое, то, что было в Петербурге в 63 году, до ее отъезда, нельзя, что Аполлиария уходит, если совсем не ушла от него. Но он не мог поверить, что она его кинула, он хотел верить в нее, несмотря ни на что. Вспоминая ее измену и поведение в Италии, он сжимал кулаки от злости и бессилия, он задыхался от этой любви, как от навождения, он просил Бога дать ему силы, чтобы избавиться от Аполлиарии. А через час мысль о том, что он совсем ее потеряет, быть может, никогда больше ее не увидит, делала его больным на целый день. Так и метался он от мечты о ней до борьбы с нею, ни в чём не находя покоя.

Аполлиария привлекала Достоевского совершенно по иным причинам, чем некогда Марья Димитриевна. Она не походила на хрупкую страдальицу, на нервную беззащитную женщину с подозрительным румянцем на худых щеках. В Аполлиарии не было той женственности, связанной со слабостью, которая у Достоевского всегда ассоциировалась с его детством

и матью. В ней увидел он нечто от амазонки. Это была иная порода, для него непривычная, тот новый тип своевольной властительницы, с каким ему еще не приходилось встречаться.

Его особенно притягивало ее самоутверждение. Это было и сложнее и значительнее простого эгоизма: она считала себя в праве совершать всё, что ей заблагорассудится, потому что отвергала все моральные условности и запрещения. Она даже не столько отвергала их теоретически, сколько презирала в действительности. И тут дело было не в ее «нигилизме» или приятии лозунгов эпохи, а в ее натуре. Она была бунтаркой по своему душевному складу и исконной русскости. Она постоянно искала свободы, но понимала ее по своему — отказываясь от обязанностей по отношению к окружающим и считая, что она ничем ни с кем не связана. В самый разгар драмы с Сальвадором она записала в Дневник (и потом, наверное, прочла Достоевскому): «сегодня я много думала и осталась почти довольна, что Сальвадор меня мало любит, я более свободна... Жизнь, которую я предполагала, не удовлетворит меня. Нужно жить полнее и шире». Это не обычные мечтания романтической барышни: все ее поступки доказывают, что она способна была разрушать препятствия и брать барьеры.

В какой-то мере ее решительность и самовластие «взорвали» глубины Достоевского. От столкновения с Аполлинарией вышли наружу все те уклоны его мысли и чувства, которые прежде, хотя и существовали, но оставались на втором плане: на первом была жалость, сентиментальный гуманизм, религия страдающей личности — ею дышат и его первые произведения и вся история его первой любви и брака. Но теперь он был захвачен религией дерзающей личности; в его произведениях этой эпохи мятеж идет от теоретического отрицания («Записки из подполья») и вызова судьбе

(«Игрок») до открытого действия («Преступление и наказание») — и всё это связано с Аполлинарией. Его основной темой становилась проблема свободы воли и восстание человека — метафизическое, моральное, социальное: в Аполлинарии мятеж воплощался в ее эмоциях и в ее поле. Конечно, весь вопрос в том, в какой мере Аполлинария влияла на него, когда он писал романы шестидесятых годов, до какой степени она окрасила начало этого второго периода в истории его творчества. Помогало ли общение с ней кристаллизации его идей о личности, отвергающей норму, или же Аполлинария очаровала его именно потому, что всё внимание его, как писателя и мыслителя, было направлено на проблему самоутверждения и своеволия, морального анархизма и безответственного деяния? Аполлинария удивительно похожа на героиню из его романа — и черты ее разбросаны в ряде женщин Достоевского: отчасти в Дуне, сестре Раскольникова («Преступление и наказание»), отчасти в Настасьи Филипповне (в ней смешаны Аполлинария и Марья Дмитриевна) и Аглае («Идиот»), несомненно в Ахмаковой («Подросток»), в героине «Вечного мужа», в Лизе из «Бесов» и, опять-таки частично, в Катерине из «Братьев Карамазовых», не говоря, конечно, о Полине из «Игрока». Уже один этот перечень показывает, до чего Аполлинария «пронзила» Достоевского. Но следует спросить: оттого ли персонажи его романов похожи на Аполлинарию, что сердце его было полно ею и он вспоминал о ней, или же он полюбил ее и мучился ею и тянулся к ней, ибо она была похожа на образы, рожденные его воображением и желанием, ибо она соответствовала тому видению женщины, которое создала не жизнь, а творческая фантазия. Не произведения его копировали его биографию, а в жизни он выбирал тех, кто походил на героинь его романов, воплощая его мечты и тайные стремления. Но ответить полностью на

эти вопросы, значит разрешить одну из самых сложных и противоречивых проблем психологии творчества.

В Аполлиинарии очень резко выступали те стороны ее характера, которые Достоевский вообще считал ключевыми для объяснения человеческой сложности: она была способна на бунт и дерзание, и она в себе совмещала самые противоречивые склонности. Ее темперамент одинаково проявлялся и в любви и в ненависти. Она быстро увлекалась, строила идеальные образы, — и резко разочаровывалась. И так как она не умела прощать и не знала снисхождения, это разочарование немедленно превращалось в иронию и беспощадность, в гнев и жестокость. Она сама порою от этого страдала, ее требования к жизни и людям фатально обрекали ее на поражения и удары, и это бросало трагическую тень на всё ее существование — Достоевский это почувствовал в Париже, и от этого еще больше полюбил ее. Дыхание беды, почти катастрофы, которое оведало ее, — это ее естественное влечение к абсолютному, к непомерному, и ее неспособность войти в рамки — всё это было его кровное, родное. Он порою точно в зеркало, вглядывался в эту молодую девушку: в ней самой волновалось то, что он пытался вложить в свои романы, и в ней было больше «достоевщины», чем в ряде его героев и героинь. Но она этого не знала, не думала об этом, и она ведь не любила его.

Но даже и в этом он не был вполне уверен. Он постоянно сомневался в ее чувствах и настроениях и никак не мог ясно прочесть в сердце собственной возлюбленной. Точно ли она собиралась его покинуть? Был ли это конец или же перерыв, после которого она целиком будет принадлежать ему? И Достоевский, психолог и провидец, знавший все тайны ума и души, стоял в унынии и бессилии перед загадкой 23-х летней своевольницы. Всё было зыбко и непонятно в Апол-

линарии, точно он блуждал по топи, рискуя каждую минуту провалиться в роковую трясиину. А может быть, и Марья Дмитриевна никогда его не любила, и правда то, что она бросила ему в Твери во время ссоры: «никакая женщина не может любить бывшего каторжника». Достоевский перевозил жену из Владимира в Москву, устраивал ее на новом месте, разговаривал с докторами, переписывался с братом Михаилом по поводу журнала «Эпоха», который начал выходить вместо закрытого «Времени», писал статьи, работал над «Записками из подполья», — но перед ним неотвязно вставал вопрос: как объяснить поведение Аполлинарии, что осталось в ней от прежней любви и чем кончится его связь с той, кого он теперь считал самым близким, самым дорогим ему человеком, кого готов был назвать, как никого не называл ни прежде, ни позже — «подругой вечной».

Странной и трудной была его жизнь зимой 1863 и ранней весной 1864 гг., подле умиравшей жены, за которой он ходил, облегчая последние ее дни, заботясь о ней, а, может быть, и мечтая о ее смерти, как об избавлении — и всё время нося Аполлинарию и в сердце и в самых глубинах плоти. Марья Дмитриевна кашляла кровью в спальней, а он ждал письма с французской маркой, от Аполлинарии, из Парижа. Она послала ему свой новый рассказ, и он тотчас же отправил его в Петербург: «Своей дорогой», под обычными инициалами А. С-ва появился в шестой книжке «Эпохи». Он начал писать «Игрока», в котором не только изображал свою страсть к игре и к сумасбродной молодой девушке, но даже не изменил ее имени: его героиню зовут Полина, он всегда так называл Аполлинарию. Но роман, при писании которого он вспоминает и вновь переживает недели, проведенные с нею за границей, подвигается очень медленно. Это не удивительно: трудно ему писать о Полине, ежедневно наблюдая

умирание жены. Он принужден беспрерывно обманывать и притворяться, на нём всегда маска. Никто — даже брат, поверенный его романа с Аполлинарией — не знает, что происходит в нем в эти страшные месяцы. Стиснув зубы, подчинив себя твердо установленному порядку работы и домашних обязанностей, он ничем не выдавал жгучего вихря страсти и сомнений, раскаяния и сожалений, крутившегося в его душе. С каждым днем настроение его ухудшалось: он был одинок и несчастен, он был свидетелем агонии той, кого когда-то любил, он дышал воздухом смерти и безумия. Марья Димитриевна часами сидела в кресле, неподвижно углубленная в свои думы. Потом она вдруг вскакивала, бежала в гостиную, останавливалась перед портретом мужа и, грозя ему кулаком, кричала: «каторжник, гнусный каторжник!» Бывали дни, когда ненависть ее превращалась в остервенение, и затем исчезала без следа. Ее часто мучили галлюцинации, кошмары, в последние недели перед смертью она стала полубезумной, с редкими мгновениями просвета.

Вести из Парижа тоже не могли принести Достоевскому утешения. То, что Аполлиария сама писала ему, и то, что он угадывал между строк или из обмолвок, усиливало его печаль. Он любил ее всё сильнее, а она всё дальше уходила от него, линии их судеб намечались совсем по-разному. Иной раз они ссорились в письмах, почти с таким же пылом, как недавно в Италии. Переписка их была очень оживленной, до нас, однако, дошла ничтожная ее часть, большинство же писем пропало или погребено в неведомых архивах. Достоевский понимал, что в Аполлиарии назревает какой-то душевный перелом, а помочь не мог: их разделяли тысячи верст, ему вырваться за границу до лета не было никакой возможности, а она не хотела возвращаться в Россию.

После их расставания в Берлине Аполлиария вер-

нулась в Париж. Первое время она еще была занята Сальвадором: думала о том, как ему «отомстить» или как его вернуть, но из всех ее попыток ничего не вышло, и ее снедали тоска и скука. Запада она не любила, и ее отрицательное отношение к европейской действительности порою отражало желчные взгляды Достоевского относительно чванной пустоты французов и тупого самодовольства немцев. Она пишет: «до того всё, всё продажно в Париже, всё противно природе и здравому смыслу, что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: «этот народ погибнет!» Ее возмущают французские идеалы денежного благополучия и устроенности: «я бы их всех растерзала». Порою, когда ей опостылевают французы, она мечтает о поездке в Америку, на новый континент. В пансионе, где она снимает комнату, поселяется двое американцев: «они мне нравятся, особенно один: лицо такое энергическое и серьезное. Он на меня смотрел внимательно и серьезно, в это время и я на него смотрела. Это, должно быть, люди, слава Богу. Но, может быть, я не сойду с ними». Это не праздный вопрос: она действительно с трудом сходится с людьми и не знает, что с собой делать. Сердце ее ожесточено, у нее нет определенного места в жизни, и она ищет новых лиц и впечатлений. Чтобы развлечься, она холодно использует мужчин, попадающихся на ее пути. «После долгих размышлений, я выработала убеждение, что нужно делать всё, что находишь нужным». Она флиртует с пожилым англичанином, с медиком голландцем, говорящим по-русски (очевидно, с братом того самого революционера Бенни, о котором так трогательно и живо написал Лесков), с грузином Николадзе, с французом Робескуром — на глазах у его жены — и вся эта международная коллекция дает ей лишь одно удовольствие — сознание собственной власти над влюбленными в нее поклонниками. Она точно скована —

своей силой, которую некуда применить, своими ненужными любовными победами. Она знакомится с двумя известными русскими писательницами, проживающими в Париже — графиней Салиас де Турнемир (Евгения Тур) и Маркевич (Марко Вовчок). С первой она дружит и показывает ей свои беллетристические опыты. Но таланта у нее нет: ее рассказы сухи, бесцветны, написаны дурным языком. Она совершенно лишена чувства формы и стиля, как и многие авторы и критики этой эпохи, отличавшейся необыкновенной эстетической скудостью. Вероятно, в эти месяцы она пишет повесть «Чужая и свой». Герой ее, Лосницкий, приезжает к своей возлюбленной, 22-х летней Анне Павловне, и у них повторяется со всеми подробностями сцена встречи между Аполлинаруией и Достоевским в Париже, при чем Сулова употребляет выражения, записанные в ее дневнике или письмах: «зачем ты приехал, — говорит Анна Павловна, — ты приехал немножко поздно» и т. д. В точности воспроизведен и эпизод с Достоевским, желавшим поцеловать ей ногу. Лосницкий женится, но затем едет на юг Франции, где живет больная Анна Павловна, и преследует ее своей страстью. Когда он весел, он рассказывает ей о своих прежних похождениях и замечает, что «подобные отношения мужчины к женщине очень естественны и извинительны, и они даже необходимы, и не только не мешают высокой любви к другой женщине, но даже еще и увеличивают и поддерживают ее. К сожалению, ни одна женщина не в состоянии этого понять». Аполлинария, несомненно, слышала схожие речи из уст Федора Михайловича.

В конце повести Анна Павловна бросается в реку. Это самоубийство отражало мрачное настроение автора в начале 1864 года. Каждая новая встреча усиливала ее неудовлетворенность, она расточала себя в бесплодной игре с десятками мужчин, и ничем не могла увлечь-

ся до конца — ни радикальными идеями, распространенными в кругу графини Салиас, ни нигилистской рассудочной деловитостью, которой щеголяли приезжавшие из России молодые люди. Она встречается с революционерами, но не может к ним пристать, и остается одинока в собственном невеселом и замкнутом мире.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Достоевский надеялся, что 1864 год принесет ему удачу, а на деле он оказался одним из самых тяжелых и несчастливых. В апреле умерла Марья Димитриевна, а в июле — любимый брат и товарищ по литературным предприятиям, Михаил. В сентябре скончался видный сотрудник «Эпохи» и друг Достоевского, критик и поэт Аполлон Григорьев. Достоевский писал впоследствии Врангелю:

«Бросился я, схоронив ее (Марью Димитриевну), в Петербург, к брату, он один у меня оставался, но через три месяца умер и он. И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было всё, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, всё чуждое, всё новое, и ни одного сердца, которое могло бы мне заменить тех обоих. Стало вокруг меня холодно и пустынно». Аполлинария могла бы стать этим сердцем и соединить две половинки жизни, но о ней Достоевский не упоминает. Очевидно, даже и в письмах она не подарила ему немножко ласки. Впрочем, утешать она не умела и не хотела, о смерти Марьи Димитриевны едва ли могла жалеть, и, не вынося слабости и сентиментальности, плохо понимала горе Достоевского. Она звала его в Европу и очень сердилась, что он не приехал. Он оправдывался обстоятельствами, но такие аргументы до нее не доходили: она верила, что сильные люди умеют побеждать всякие препятствия.

А у Достоевского голова шла кругом в Петербурге: он должен был заботиться о Паше, дерзком и назойливом юноше с черными напомаженными волосами и желтой кожей, он поселился с ним на одной квартире и Паша так вел его хозяйство, что денег никогда не хватало. На его руках была теперь и семья брата: вдова Михаила Эмилия Федоровна, с многочисленными детьми-подростками, считала, что Федор Михайлович должен заботиться обо всех них. К нему постоянно обращался за помощью другой его брат, Николай, страдавший острым алкоголизмом. К тому же Достоевский взял на себя все долги брата — и по журналу, и по фабрике, причем, впопыхах и в суматохе, выдавал векселя направо и налево, не разбирая претензий, и в кредиторах оказалось не мало таких, кому покойный Михаил уже раньше уплатил сполна. Федору Михайловичу предстояло выплачивать эти долги в течение тринадцати лет, почти до самой смерти. С журналом он не мог один справиться, дела шли плохо, он болел и находился в подавленном состоянии. Он попробовал было написать Аполлинарии, чтобы она вернулась в Россию, но молодая девушка не выразила никакого желания стать его сестрой милосердия. Наоборот, у нее развивалось чувство досады, даже неприязни к Достоевскому. Она отрицала его право на учительство и на разговоры о христианских добродетелях. Она перестала верить в его «благородство». Зная его темперамент и воспламеняемость, она не могла поверить, что он не спит с другими женщинами, особенно после смерти жены, когда он остался один, — и в мысли об этом было что-то неприятное и грязное. Она вдруг прониклась ненавистью к тем самым его качествам снисходительности и мягкости, которые она так ценила, когда ей нужна была его помощь в истории с Сальвадором. Теперь она пишет:

«Чего я хочу от Сальвадора? Чтоб он сознался,

раскаялся, т. е. чтоб был Федором Михайловичем? Что же бы тогда было, между тем как теперь я имею минуты такого торжества, сознания силы». Слабость Достоевского и его раскаяние в тех поступках, которые он совершал в припадке страсти, очевидно, вызывали презрение Аполлинару. Она возмущена его неспособностью быть решительным и отказаться от моральных и иных предрассудков. И в то же время она обвиняет его в том, что он заразил ее своей совестливостью, внушил сомнения, быть может, подточил ее силу. Как Гамлет, она готова была сказать: «нет ни добра, ни зла, только наша мысль о них».

«Мне говорят о Федоре Михайловиче, — пишет она в сентябре 1864 года, — я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания».

Она думала не только о путешествии по Италии, но и о начале их связи в Петербурге, а может быть, и обо всей переписке, вызывавшей в ней раздражение и смутное сознание неправоты. Она прибавляет: «теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет мне напоминать оскорбления и страдания». В этом она должна была, впрочем, обвинять и Сальвадора, и самое себя. Поиски ощущений, чувственная забава, новые мужчины занимают ее на очень краткий срок — а потом приходит отвращение и возмущение своей пустой жизнью. Она доходит до края с одним из своих поклонников, «лейб-медиком», и восклицает: «куда девалась моя смелость? Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского, он первый убил во мне веру. Но я хочу стряхнуть эту печаль». Достоевский вселил в нее сомнение в возможности добиться радостной и полной жизни на тех путях беспощадного эгоизма, на которых торжествовал ее инстинкт власти. Но отка-

заться от своих экспериментов, переродиться она уже не может, и она ездит по Франции, Швейцарии и Германии, меняет города и возлюбленных, и нигде никто и ничто не дает ей того бескомпромиссного, безраздельного счастья, о котором она всегда мечтала. «Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть».

Но в то время, как она отбрасывала обыденное благополучие и тщетно пыталась развеять тоску в Версале, Париже, Спа и Цюрихе, Достоевский изнемогал под двойным бременем забот и одиночества, и искал самых фантастических выходов из положения. Зимой 1864 и в начале 1865 года в его отношении к Аполлинарии наступил кризис. Она была родным человеком, но она была далеко, и она его больше не любила. На нее нельзя было рассчитывать. Сперва он попробовал отвлечься, беря, что попадалось под руку. В его жизни опять заводятся какие-то случайные женщины, некоторые из них, как Марфа Браун, — авантюристки, другие и того хуже. Затем он решил, что спасение его — в женитьбе на хорошей, чистой девушке. Случай знакомит его с красивой и талантливой 20-ти летней барышней из отличной дворянской семьи, Анной Корвин-Круковской, она очень подходит к роли спасительницы, и Достоевскому кажется, что он в нее влюблен. Он встречает ее в марте 1865 г., а в апреле готов просить ее руки. Но из этой затеи ничего не выходит, и в те самые месяцы, когда разворачивается его невинная идиллия с Корвин-Круковской, он усиленно посещает Надежду Суслову, сестру Аполлинарии, и открыто поверяет ей свои сердечные невзгоды.

Надежда была только что исключена за левизну из Военно-Хирургической Академии и собиралась за границу. Она уехала в 1865 г. в Цюрих и через два года окончила тамошний университет, блестяще защитив диссертацию по физиологии сердца. Впоследствии она

сделалась первой женщиной врачом в России и сыграла крупную роль в истории высшего женского образования. В семидесятых годах она вышла замуж за профессора зоологии Ф. Эрисмана и занималась медицинской практикой в Москве. Достоевский всегда восхищался высокими моральными и умственными качествами этой молоденькой студентки (в 1865 ей было 22 года). «Это редкая личность — писал он о ней, — благородная, честная, высокая». Ее ум и энергия поразили и Герцена, когда он познакомился с ней в Европе. С ней-то Достоевский и разговаривал весною 1865 года об ее сестре. В это время Аполлинария покинула Париж и лечилась в Монпелье (не от женской ли болезни), где подружилась с Огаревой Тучковой, гражданской женой Герцена. Достоевскому она посылала язвительные и надменные письма, применяя и в переписке метод, столь удававшийся ей с глазу на глаз: «ей было приятно, — замечает герой «Игрока», — выслушав и раздражив меня до боли, вдруг меня огорошить какой-нибудь выходкой величайшего презрения и невнимания». Когда он спрашивал, что с ней такое, или пытался анализировать ее состояние, она попрекала его тем, что он был всегда охотником до чужих слез и страданий. После одной из таких выходок он не сдержался и высказал несколько горьких истин об ее «индивидуализме», вернее, бессердечии.

Когда Надежда приехала весною 1865 года в Цюрих, Аполлинария пожаловалась ей на Достоевского. Надежда тотчас же обратилась к нему, повторив все обвинения сестры. То, что Достоевский, в ответ на упреки, написал Надежде, является документом первостепенной важности. Прося Надежду прочесть копию письма к Аполлинарии (оно не сохранилось), он прибавляет:

«Из него вы ясно увидите разъяснение всех вопросов, которые вы задаете в вашем письме, т. е. «люблю

ли я лакомиться чужими страданиями и слезами и проч.». А также разъяснение насчет цинизма и грязи... В каждую тяжелую минуту к вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к вам одной и приходил, когда уж очень, бывало, наболит в сердце... Аполлинария — большая эгоистка. Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостойн был любви ее, жалуется и упрекает меня непрерывно, сама же встречает меня в 1863 году в Париже фразой: «ты немножко опоздал приехать», т. е., что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня. Не за любовь к другому я корю ее, а за эти четыре строки, которые она мне прислала в гостиницу с грубой фразой: «ты немножко опоздал приехать». Я многое бы мог написать про Рим, про наше житье с ней в Турине, в Неаполе, да зачем? Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее. Она не стоит такой любви.

Мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья. Кто требует от другого всего, а сам избавляет себя от всех обязанностей, никогда не найдет счастья.

Может быть, письмо мое к ней, на которое она жалуется, написано раздражительно. Но оно не грубо. Она в нем считает грубостью то, что я осмелился говорить ей наперекор, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала всегда свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей. Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней нет вовсе человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих

пор. Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай».

Этот вопль Достоевского не остался без отклика. Вмешательство Надежды, очевидно, повлияло на ее строптивую сестру, и между Аполлинаруией и Достоевским произошло нечто в роде примирения. Во всяком случае, он довольно легко отказался от мысли о женитьбе на Корвин-Круковской и снова начал рваться за границу. Всё, однако, мешало его отъезду. Надо было ликвидировать «Эпоху». Со всех сторон его осаждали кредиторы, грозили судом и тюрьмой. Неприятностей и забот было так много, что перо падало из рук. Часто повторялись припадки эпилепсии, после каждого из них он был болен несколько дней и опять-таки не мог писать, а ведь кроме писательства никаких иных средств для существования у него не имелось.

Отъезд за границу превратился в его воображении в какой-то спасительный миф: он должен был принести избавление от всех бед. Он жаждал рулетки и Аполлинаруии. Игра должна была дать ему деньги, Аполлинаруия — ласку и любовь. Две страсти смешивались в нем в одно сложное и нездоровое влечение. Поздним летом 1865 года, взявши займы небольшую сумму, которая никак не могла хватить на путешествие, Достоевский в необычайно лихорадочном состоянии вновь выезжает за границу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Достоевский два года не видал Аполлинарии. И какие это были годы! Ему казалось, что прошли века с того дня, когда он в последний раз прижал ее к себе на дымном перроне Берлинского вокзала осенью 63 года. С тех пор любовь его питалась воспоминаниями и игрой воображения: в них любимая делалась прекраснее и лучше, чем в действительности, но призрачной, неуловимой, как сновидение. Он старался представить себе Аполлинарию такой, какой она сейчас должна была явиться ему — и не мог. Он почти страшился этого долгожданного, столько раз откладывавшегося свидания, и боязнь, смешиваясь с предвкушением радости, доводила его почти до нервного расстройства.

В середине августа Достоевский был уже в Висбадене, куда Аполлинария собиралась приехать по дороге из Цюриха в Париж.

Когда они, наконец, встретились, Достоевский сразу увидал, как она изменилась. Да, это была та Аполлинария, которую он знал и любил, его возлюбленная, его подруга, он весь затрясся, услышав ее грудной голос, ощутив ее нежные плечи под своими жадными пальцами, — но этот голос звучал сухо, надменно, ее похоронившее, расцветшее тело оставалось неподатливым и неотзывчивым. Она стала холоднее и отчужденнее. Она с насмешкой говорила, что его высокие порывы — банальная чувственность, и отвечала презрением на его страстные поцелуи. Если и были моменты физического

сближения, она дарила ему их точно милостыню — и она всегда вела себя так, точно ей это было ненужно или тягостно. Иной раз Достоевскому приходило в голову, что его объятия пачкали и унижали ее. И вообще, она была здесь — и ее не было, она отсутствовала эмоционально и эротически. За ней было два года свободной жизни, к которой он не имел никакого отношения, весь тот ее мир исканий или капризов, о котором он скорее догадывался, чем знал что-либо определенное. Он отлично понимал из ее писем и слов, что она не провела эти годы в целомудрии и воздержании. Он даже не мог задать ей праздного вопроса, была ли она ему верна всё это время. Она не признавала за ним никаких прав, даже права на ревность. В свою очередь она как будто не интересовалась тем, что он делал в Петербурге. В разговорах об их отношениях она равнодушно взвешивала свои и его чувства и ощущения — точно речь шла не о них, а о чужих далеких людях. Видно было, что она уже поставила свой диагноз: их любовь умирала, лекарств для излечения не имелось. Ничто, кроме прошлого, не притягивало ее больше к Достоевскому.

Он попробовал бороться за эту любовь, рассыпавшуюся прахом, за мечту о ней — и заявил Аполлинарии, что она должна пойти за него замуж, ибо это — единственный выход, и никто не даст ей столько нежности и тепла, как он. Именно теперь, когда всё ускользало, он хотел доказать и себе и ей, что несчастье поправимо, и требовал самого большего: соединения навсегда. Она, по своему обыкновению, ответила резко, почти грубо. После первых дней относительного равновесия они снова начали ссориться. В Швейцарии она виделась с сестрой, вела с ней длинные разговоры о Достоевском и обещала быть с ним терпимой и мягкой. Но едва испытала свою власть над ним и убедилась в противной его покорности и рабском его восторге от

ударов хлыста, едва развязала в нем физическое желание, — как ей неудержимо захотелось топтать его, сделать ему больно, мстить ему за все обиды и неудачи ее запутанного существования. Она перечила ему, издевалась над ним или же обращалась с ним, как с мало интересным, случайным знакомым. И тогда Достоевский начал играть в рулетку с каким-то упоением — и это опять-таки оскорбило ее: после уверений в вечной любви и объятий — безразличных или даже неприятных — он вдруг забывал о ней и бросался, как одержимый, в игорные залы. Рулетка должна была снова дать ему забвение и утешение.

Он проиграл всё, что было и у него, и у нее, и когда она решилась уехать, не зная даже, хватит ли денег на поездку во Францию, Достоевский не удерживал ее — точно возможность раздобыть в Париже необходимую сумму, чтоб отыгратья и, быть может, выиграть, была для него важнее, чем ее присутствие. Чем вызывалось это странное его поведение? Признанием окончательного любовного поражения? Или бессознательной самозащитой? Неожиданно обернулось это свидание после двух лет разлуки: похоже, что страсть к игре вытеснила или заменила другую страсть. Но замена оказалась временной. Едва Аполлинария уехала, он, точно освободившись от злых чар, опомнился и начал писать ей нежные письма: «милая Поля, во-первых, не понимаю, как ты доехала. К моей пресквернейшей тоске о себе прибавилась тоска о тебе... не могу поверить, чтобы тебя до отъезда твоего не увидел (она собиралась в Монпелье). Обнимаю тебя крепко». Через два дня он снова говорит о том же: «не хочу, впрочем, верить, что не буду в Париже и тебя не увижу до отъезда. Быть того не может... Твой весь, обнимаю еще раз очень крепко».

После отъезда Аполлинарии Достоевский очутился в совершенно отчаянном положении. В отеле ему

отказались давать обед в долг, он питался чаем и хлебом и сидел в темноте, без свечки, потому что за нее нечем было заплатить. Лежа на постели, он вечерами изнивал от стыда и голода, но выйти боялся, чтоб не встретить презрительного и насмешливого взгляда отельных служащих. Днем он лихорадочно строчил письма с призывами о помощи: он писал Герцену, Тургеневу, Милюкову, Врангелю, издателям журналов в Петербурге, предлагая им обширный план будущего романа: из него выросло «Преступление и наказание». Все вещи его были заложены, деньги, присланные из Парижа Аполлинарией, немедленно проиграны. Наконец, он получил от Тургенева 50 талеров вместо просимых 100. Этот долг только усилил старую вражду между обоими писателями. Тургенев никогда не упускал случая напомнить, как он спас Достоевского и как тот не вернул ему денег. Действительно, Достоевский заплатил свой долг лишь через десять лет, в 1876 году, и при этом опять произошел инцидент: Тургенев утверждал, что в свое время отправил в Висбаден не 50, а 100 талеров, а Достоевский это оспаривал, приводил документальные данные своей правоты, возмущался, кипел и наделял Тургенева весьма нелепыми эпитетами.

Аванс от Каткова под первую версию романа, тогда еще называвшегося «Раскольников», не пришел в Висбаден по недоразумению (Достоевский получил его уже в Петербурге), Герцен не откликнулся, Врангель, старый верный друг, помог, но поздно, и выручил Достоевского Иоанн Янышев, священник православной церкви в Висбадене: он поручился в отеле за высоко им ценимого писателя и снабдил его 134-мя гульденами. С такой суммой о поездке в Париж нельзя было и думать, ее едва хватало на возвращение домой. От Аполлинарии, однако, пришло письмо с обещанием, что она скоро приедет в Россию. С этой надеждой,

несколько утешившей его после всех только что пережитых несчастий — любовных, игорных и денежных, — Достоевский пустился в обратный путь.

Аполлинаруия вернулась в Париж недовольная и собой и Достоевским. Связь с ним представлялась ей теперь умалением ее свободы, постылой обузой, оскорблявшей и ее самолюбие, и ее женское достоинство. Она тотчас же возобновила свой флирт с «лейб-медиком», точно свидание с Достоевским встревожило ее чувственность, и направила она ее на другого. С этим другим — обычное чередование холода и страсти: «он хотел большего, — пишет она о нем, — но я не допускала». Игорная горячка Достоевского ей претила не меньше его сладострастия, казалась ей недостойной слабостью, даже пороком, и, со своей обычной нетерпимостью, она осуждала его без всякого снисхождения. Да и вообще, всё, что он делал и чего желал от нее, вызывало в ней протест и возмущение. Она и Достоевского, и большинство своих знакомых готова была считать врагами. В середине сентября она записывает в дневник: «лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей, верной своим убеждениям, и возратить душу Богу так же чистой как она была, чем сделать уступку, позволить себе хоть на мгновение смешаться с низкими и недостойными вещами, но я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом ее выношу. Боже мой, неужели всегда будет так? И стоило ли родиться?».

В те самые дни, когда Аполлинаруия задавала себе этот вопрос, Достоевский в Петербурге усиленно работал над «Преступлением и наказанием». Он бросил «Игрока», потому что слишком больно было ему писать об Аполлинаруии, и соединял в новом романе различные сюжетные линии, привлекавшие его в последние месяцы. Он чувствовал в себе большой прилив творческой энергии, и порою спрашивал себя, в какой

мере смерть жены развязала в нем те силы, какие он сейчас ощущал. Но писать приходилось в промежутках между тяжкими припадками падучей. После возвращения из заграницы они повторялись чуть ли не каждые пять дней, — и, вероятно, причиной их была и Аполлиария, и напряженная работа над романом. Перед припадком у него усиливались печаль и раздражение, он становился угрюмым и придиричивым, порою попросту набрасывался на людей и кричал на них. Он часто слышал голоса, перед ним проносились видения, как во сне или бреду, или же он испытывал острое невыносимое блаженство, очень походившее на половой оргазм, хотя акт любви не доставлял такого пронзительного наслаждения, как этот миг восторга, «аура», как его называли врачи; он неизменно кончался судорогами и потерей сознания. После припадка симптомы нервного потрясения проходили очень медленно, у него болела голова, меланхолия и слабость владели им несколько дней. Почти всегда, в связи с припадками, его охватывала тоска и томление. Как свидетельствовали друзья, характер этой тоски, по его словам, «состоял в том, что он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство». В такие минуты он готов был признать свою страшную вину и перед Марьей Димитриевной за то, что обманывал ее с Аполлиарией, и перед Аполлиарией за то, что лишил ее невинности и опалил ее огнем сладострастия.

Доктора считали, что излечиться ему нельзя, но говорили, что можно улучшить его общее состояние, если он откажется от писания и всякого сильного возбуждения. На такие советы Достоевский обычно пожимал плечами: в качестве лекарства ему предлагали самоубийство. Как раз в эти дни он горел на двойном огне: он описывал Раскольникову, убийство старухи ростовщицы и ее сестры, смерть Мармеладова, болезнь

и кошмары, и метания преступника — и он ждал Аполлинарию. Вся напряженная атмосфера «Преступления и наказания», этого романа дерзания, крови, душевного срыва и плотского ущерба, выражала его собственное состояние и ту обстановку, в какой ему приходилось работать.

Аполлинария приехала в Петербург в конце октября 1865 года, и тотчас же произошло то, что неминуемо должно было случиться. Достоевский, еще решительнее, чем в Висбадене, предложил ей выйти за него замуж. Он искал окончательного объяснения. «Примирения наполовину с ней быть не могло», — замечает он в «Вечном муже» о Наталье Васильевне, так напоминающей Аполлинарию этого периода. Предложение его было не ново, и он не скрывал его от своего окружения. Аполлинария записывает в ноябре в дневник: «он давно предлагает мне руку и сердце и только сердит меня этим». Еще раньше, в феврале, молодой нигилист Усов, приятель Салиас, спрашивал Аполлинарию, отчего бы ей не выйти замуж за Достоевского и прибрать к рукам его «Эпоху», превратив журнал из консервативного в радикальный (такова, очевидно, была вера в ее власть над Достоевским). Она ответила: «оттого, что не хочу... хотела бы, так была бы там, а не ехала в Монпелье».

Но и оказавшись в России, она не изменила своего решения: она не только не собиралась соединить своей судьбы с Достоевским, но за четыре месяца своего пребывания в Петербурге привела их отношения к бесповоротному разрыву. Достоевский и сам добивался кризиса и предельной ясности — их свидания становились черезчур тягостны, превращались в непрерывный поединок. «Сегодня был Федор Михайлович, — записывает Аполлинария, — и мы всё спорили и противоречили друг другу». Ей теперь всё в нем не нравилось: его религиозность и сильно напомаженные короткие

волосы, разговоры о том, что позволено в морали, и его любовь к сладостям. Она насмеялась над его напрасным щегольством: он заказывал себе костюмы у дорогих портных, а сидело всё на нем мешком; когда он заговаривал о женитьбе, она, смеясь, напоминала ему о его восхищении англичанками, вот поехал бы в Лондон и нашел бы себе там жену, ведь он утверждал, что у англичанок самый совершенный тип женской красоты. А когда он, по ее выражению, начинал приставать, она едко задавала ему вопросы о встречах с продажными женщинами или кандидатками в невесты — она всё узнала о нем от петербургских кумушек.

А он, в свою очередь, видел ее в беспощадном свете правды. Она представлялась ему холодной и развратной, как та княгиня, о которой в его «Униженных и оскорбленных» рассказывал князь Вадковский. Он прекрасно понимал теперь всю inferнальность ее натуры. Он потом так описывал Наталью Васильевну в «Вечном муже»:

«Она была как хлыстовская богородица, которая в высшей степени верует сама в то, что она и в самом деле богородица... тип был страстный, жестокий, чувственный. Она ненавидела разврат, осуждала его с неистовым ожесточением, и сама была развратна, но никакие факты не могли бы никогда привести ее к сознанию в своем собственном разврате».

Надеяться было не на что, их любовь пришла к концу. Но конец этот он переживал болезненно, почти трагически, как тяжелое потрясение. В переписке его завершение романа с Аполлинойрией отражается лишь косвенно, и прямых намеков на нее нет. В декабре 1865 года он писал брату Николаю: «у меня всё припадки сильнейшие, и так часто, как никогда еще не бывало. Работа идет туго, и сверх того простужаюсь, да и в доме беспорядок». А в начале 1866, когда разрыв с

Аполлинарией стал фактом, он так рассказывал о своей жизни Врангелю:

«Роман — дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и воображения. А меня мучат кредиторы, т. е. грозят посадить в тюрьму... мучат и болезни, падучая и геморрой, из-за которого должен был пролежать пятнадцать дней в постели, не работая... Добрый друг, вы по крайней мере счастливы в семействе (Врангель к этому времени женился), а мне отказала судьба в этом великом и единственном человеческом счастье».

В середине февраля 1866 года, когда он писал эти строки, Аполлинария готовилась к отъезду из Петербурга: она не только отклонила все его предложения о замужестве, но, после трех лет любви, измен, ссор и примирений, объявила, что им пора расстаться, ибо никакого общего будущего у них быть не может.

Эти слова, конечно, не могли удивить Достоевского: всё катилось под гору, и теперь только подтвердилось то, что он раньше предвидел и предчувствовал. И как ни тяжело было ему в этот миг, он испытал боль, стыд — и облегчение. Он так устал от Аполлинарии, она так его истерзала, безнадежность их дальнейшей дружбы стала до того очевидной, что ампутация делалась приемлемее длительной болезни. Он предпочитал в этот момент горестную правду ее ухода ложным надеждам, одиночество сулило меньше страдания, чем никогда не сбывающиеся мечты.

Весною 1866 г. Аполлинария уехала в деревню, к брату. Она и Достоевский простились, отлично зная, что пути их никогда больше не пересекутся. Если верить дочери Достоевского, ему суждено было встретить ее еще раз, в конце семидесятых годов, когда «Дневник писателя» сильно повысил его популярность. Однажды ему доложили, что его хочет видеть неизвестная посетительница. В кабинет вошла дама под вуалью и села перед хозя-

ином, у его письменного стола. Он спросил: «С кем имею честь?». Дама резким движением откинула вуаль и обнажила свое лицо. Достоевский сухо промолвил: «Будьте любезны сказать мне ваше имя». — «Вы не узнаете, кто я?». — «Нет, скажите ваше имя». Посетительница в ответ опустила вуаль, не говоря ни слова, встала и вышла из комнаты. И только когда за ней хлопнулась входная дверь, Достоевский вдруг понял, что то была Аполлинария. Рассказывая об этом происшествии жене, он будто бы прибавил: «Она не изменилась, но до такой степени исчезла из моей памяти, что я не узнал ее». И дочь объясняет: эпилептики странный народ, и память у них тоже странная. Но даже с поправкой на болезнь, этот мелодраматический рассказ не очень правдоподобен и мало отличается от других, подобных же небылиц, переданных всё той же Любовью Достоевской. Возможно, что отец ее, встретив где-нибудь Аполлинарию, не сразу узнал ее, и этого было совершенно достаточно, чтобы она на него смертельно обиделась. Но произошло это безусловно не при тех обстоятельствах, о которых пишет недостоверная свидетельница. Да и вообще, как мог Достоевский забыть или не узнать той, кого он три года любил трудной, восторженной и больной любовью, той, кто оставил жгучий, как рана, след в его душе и теле. И разве десять лет разлуки могли изгладить из его памяти ее образ? Он вздрагивал, когда при нем произносили ее имя, он переписывался с нею, скрывая это от молодой жены, он неизменно возвращался к описанию ее в своих произведениях, он до самой смерти пронес воспоминание о ее ласках и ее ударах, он навсегда — в сокровенной глубине сердца и плоти — остался верен своей обольстительной, жестокой, неверной и трагической подруге.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Аполлиария вернулась в Россию, чтобы вырваться из тины пошлости, которая, как ей казалось, засасывала ее в Европе. В Петербурге она нанесла окончательный удар по прошлому, порвав с Достоевским, от кого, по ее мнению, и пошли все беды. Теперь она была свободна и могла начать новую жизнь. Но то, что мы знаем о ее дальнейшей судьбе, показывает, что свобода принесла ей мало радости.

Сперва она занялась общественной деятельностью и осуществила свое давнее намерение о работе для народа. Сдавши экзамен на звание учительницы в 1868 г., она устроила школу для крестьянских детей в селе Иваново Владимирской губернии. Об этом местные власти немедленно донесли в Петербург: Аполлиария Сулова была под надзором полиции и у нее неоднократно производились обыски*. Брат ее был впоследствии арестован. Школу через два месяца закрыли по приказу из столицы. В секретном полицейском докладе упоминается, что Аполлиария носила синие очки и коротко стриженные волосы; есть и другие обвинения: «в суждениях слишком свободна и не ходит в церковь».

В архиве Третьего Отделения, в деле № 260, 1868 г., находится агентурная запись, что Аполлиария Суло-

* В петербургских литературных кругах перед революцией рассказывали порой с возмущением, что во время одного из обысков Аполлиария уничтожила все письма Достоевского к ней, выбросив их в уборную.

ва «известна за одну из первых нигилисток, открыто заявлявших свое учение, и за границей имела близкие сношения с лицами, враждебными правительству». Речь, очевидно, шла об Огаревой-Тучковой, жене эмигранта Герцена, об Усове, гр. Салиас и прочих представителях революционной и радикальной интеллигенции.

Одно время Аполлинария занималась литературным трудом: в 1870 вышел ее перевод книжки М. Минье «Жизнь Франклина»: она осталась верна своему интересу к Америке. О личной жизни ее ничего не известно. Она была поборницей женской эмансипации, и в 1872 году появилась на только что открытых курсах Герье в Петербурге — первом русском высшем учебном заведении для женщин. Ей было тогда 32 года. Одета в темное, серьезная и сосредоточенная, она обращала на себя внимание и привлекала своей таинственностью. Но курсов она не окончила: наука, повидимому, надоела ей так же быстро, как и всё остальное.

Некоторое время она жила у брата в Тамбовской губернии и часто бывала в Москве и Петербурге, но нет сведений, что она делала и чем наполняла свое существование в течение ближайших семи или восьми лет. В конце семидесятых годов она снова в Петербурге, где знакомится с 24-х летним провинциальным учителем Василием Розановым, будущим журналистом, писателем и философом. Она выходит за него замуж в 1880 году, еще при жизни Достоевского, которого новый ее муж обожал. Впоследствии в своих произведениях, составляющих своеобразную главу нашей литературы, он объявлял себя его учеником. Его тоже мучили идеи Бога, вопросы добра и зла и, особенно, проблема пола. Над ним всегда тяготел душный запах плоти, и с настойчивостью, походившей на одержимость он связывал религию, политику и философию с символикой мужских и женских половых органов и с ритуалом совокупления. Брак с бывшей возлюбленной

учителя получал для него характер некоего физического таинства. Самая мысль о том, что он будет спать с той самой женщиной, с которой когда-то спал Достоевский, приводила его в мистически-чувственный восторг. Он рассказывал, что Аполлинурия поразила и «ушибла» его своей внешностью. Она была на 16 лет старше его — ему было 24, а ей 40 или 41, но, по его словам, она сохранила черты былой, поразительной красоты. На портрете этого времени она сидит в креслах очень прямо, на голове у нее кружевная заколка, волосы разделены пробором и обрамляют небольшую, очень красивую голову; правильное, точно выточенное лицо сухо, несколько строго, взгляд больших, чуть грустных глаз открыт и горд, властный чуть широкий рот резко очерчен; у нее прекрасные руки, опущенные в чуть манерном, томном жесте усталости.

Повторяя слова Достоевского о героине «Вечного мужа», Розанов пишет, что по характеру своему она была «русская Катька Медичи» или хлыстовская Богородица поморского согласия. В Варфоломеевскую ночь, по его словам, она стояла бы у окна и стреляла по бегущим гугенотам, и рука бы ее не дрогнула.

У нее и сердце редко дрожало, и он вскоре испытал это на самом себе.

Вышла она за него, вероятно, по скуке и из-за любопытства. А может быть тут примешалось и нечто сокровенное, тайное — плотское желание, восходившее к дням ее близости с Достоевским. И для Розанова физическая любовь тоже превращалась в душный плен, в наслаждение рабством. У него была какая-то половая маниакальность; он тоже был одержимый, как и Достоевский, хотя и по другому, не по-гениальному. Но в его речах о святости объятия, о великой мистерии брачной постели, чувствовались такая убедительность, такое преклонение перед телесным слиянием, что близость с ним обещала Аполлинурии какое-то высшее

оправдание и освящение ее собственной чувственности, превращение греха в путь к Богу.

Эти надежды, однако, не оправдались. Брак ее с Розановым оказался неудачным и превратился для супругов в невыносимое испытание. Уже в самом начале его Розанов, по образному выражению одной из собеседниц З. Гиппиус, «водой со слезами умывался». Сперва Аполлинария преследовала его своей чудовищной ревностью и устраивала ему дикие сцены. Она подстерегала его на улице маленького города (Елец или Рязань), в котором они жили, и когда он однажды вышел из школы с молодой учительницей, набросилась, как бешеная, на ни в чем неповинную девушку и наградила ее звонкими оплеухами. Она быстро разочаровалась в половом мистицизме Розанова: по ее мнению, он попросту прикрывал им свое слюнявое и липкое сладострастие. Но в ней самой с возрастом развилась похотливость, и она засматривалась на молодых студентов. Одному из них, другу мужа, она начала делать недвусмысленные авансы, а когда они были отвергнуты, написала на него донос в полицию. Молодой человек был арестован, и Аполлинария спокойно рассказывала о своей мести.

Розанов утверждает, что она влюбилась в его приятеля, молодого еврея Гольдовского, и, не добившись от него толку, воспретила мужу видеться и дружить с оскорбителем. По другой версии она уехала от Розанова именно с этим Гольдовским. Трудно определить, идет ли речь опять-таки о Гольдовском в истории с доносом в полицию. Во всяком случае, в 1886, после шести лет брака, она бросила Розанова, заявив, что устала от его неверности и лжи, и поселилась в Нижнем Новгороде. Насчет измен Розанова, правда, пожалуй, была на ее стороне, но власть ее над ним была такова, что он начал слезно молить ее о возвращении. На его письма и заклинания она отвечала со свой-

ственной ей жестокостью, даже грубостью, что он не собака, а потому «нечего выть». Но когда Розанов сошелся с другой женщиной и прижил от нее детей, она наотрез отказалась выдать ему развод и в течение пятнадцати лет устраивала ему множество неприятностей: новый союз Розанова, по ее вине, считался «незаконным сожителем», а дети его были лишены гражданских прав.

Борьба между Аполлиinarieй и ее бывшим мужем продолжалась с перерывами, военными хитростями, уловками и интригами вплоть до 1897 года, когда Розанов согласился, наконец, дать ей отдельный вид на жительство: до тех пор он этого не делал, надеясь отказом принудить ее к согласию на развод. Но прошло еще пять лет, прежде чем Аполлилария пошла на уступки: она была несговорчива и упорна, с друзьями, которых муж подсылал для переговоров, говорила о нем со злобой, почти с ненавистью, и называла его продажной тварью и лжецом.

Окружающие очень страдали от ее властного, нетерпимого характера. Передают, что, уйдя от Розанова, она взяла к себе воспитанницу, но та будто бы не выдержала трудной жизни и утопилась. Старик отец, к которому она поехала в Нижний, писал о ней: «враг рода человеческого поселился у меня теперь в доме, и мне самому в нем жить нельзя». Она, впрочем, вскоре переехала в Крым и обосновалась в Севастополе, в собственном доме, который содержала в исключительной чистоте и опрятности. З. Гиппиус почему-то называет ее «злой, белой и толстой старухой», лукавой и развратной. Толстой она никогда не была, в старости отличалась худощавостью, прямым и гордым станом и исключительной, производившей незабываемое впечатление наружностью. Что же касается лукавства, хитрости и похотливости, то возможно, что все эти пороки усилились в ней к концу ее жизни.

Страсти, вероятно, не перестали волновать ее даже и в преклонные годы. В 1914 году, во время первой мировой войны, она неожиданно заявила себя ревностной патриоткой и примкнула к реакционным организациям или во всяком случае, их поддерживала. Жизнь с Розановым, сотрудником «Нового Времени», антисемитом и монархистом, очевидно, не прошла для нее даром, и она усвоила некоторые его взгляды.

Она умерла в 1918 году, 78 лет от роду, вряд ли подозревая, что по соседству с ней, на том же крымском побережье, в тот же самый год, закончила свои дни та, кто, пятьдесят лет тому назад, заступила ее место в сердце любимого человека и стала его женой — Анна Григорьевна Достоевская.

Часть третья

С Ч А С Т Л И В Ы Й Б Р А К

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В одной из самых потрясающих глав «Бесов» великолепный и загадочный Ставрогин, по прозвищу принц Гарри, рассказывает, как он однажды изнасиловал двенадцатилетнюю девочку, а затем толкнул ее на самоубийство. Редактор «Русского Вестника», где в 1871 г. были помещены «Бесы», отказался печатать эту главу из-за ее «невыносимого реализма», и Достоевский читал ее Страхову, Майкову и многим другим, спрашивая их мнения. История с изнасилованной девочкой имела несколько вариантов: в основном тексте Ставрогин обвиняет ее в краже, и на его глазах ее наказывают розгами. В другом варианте девочку приводит к Ставрогину в баню ее гувернантка. Некоторые знакомые Достоевского опасались, что «обвинение в подобном бесчестном поступке гувернантки бросит тень на женскую молодежь, зарабатывающую свой хлеб честным трудом и таким образом будет истолковано, как выступление против так называемого женского вопроса», т. е. эмансипации женщин. По этим или иным соображениям, Достоевский от варианта с гувернанткой отказался. В тексте «Исповеди Ставрогина», опубликованном после революции, никакой гувернантки нет, и жертва демонического барина — девочка из бедной семьи, полусирота, а насилие происходит у нее на квартире.

В письме к Толстому Страхов повторил, но уже со слов Висковатова, будто Достоевский сам похвалял-

ся половыми сношениями с девочкой, приведенной к нему в баню гувернанткой. П. Висковатов, профессор литературы, встречался с Достоевским и в Петербурге, и за границей. Вдова Достоевского в «Воспоминаниях», пишет: «и вот этот вариант романа, вот эту гнусную роль Ставрогина, Страхов, в злобе своей, не задумался приписать самому Федору Михайловичу, забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших издержек и доступно лишь для очень богатых людей». Впрочем, она не довольствуется этим наивным аргументом и говорит затем о нравственных качествах своего мужа и об отсутствии развращенности в его характере и привычках.

Во всяком случае, и вдова писателя, и ряд биографов, с ее легкой руки утверждают, что именно чтение Достоевским «Исповеди Ставрогина» в начале семидесятых годов и породило легенду о растлении малолетней им самим: слушатели, как это часто бывает, отождествили автора с героем его романа: Было бы ошибочным, однако, полагать, будто слухи о половых эксцессах Достоевского возникли лишь в 70-ые годы, после опубликования «Бесов». «Легенда» о растлении девочки — если это была только легенда — распространилась в Петербурге еще в то время, когда Достоевский был близок к Аполлинарии. Возможно, что и тогда возникла она по причинам опять-таки литературного характера. Зимой 1865 года Достоевский рассказывал барышням Круковским о романе, задуманном им еще в молодости. Герой его — тонко и хорошо образованный помещик, в молодые годы кутил, потом обзавелся женой и детьми и пользовался всеобщим уважением. Однажды утром, проснувшись в яркий солнечный день, он испытывает особенное ощущение спокойствия и довольства, вспоминает о картине в Мюнхене, где удивительная полоса света падает на голые плечи св. Цецилии, и об умных местах из книжки

о «Мировой Красоте и Гармонии». И вдруг, в самом разгаре приятных грез и переживаний, он начинает ощущать неловкость, беспокойство, точно заболела, заныла старая рана. Ему начинает казаться, что он должен что то припомнить, и вот он силится, напрягает память. И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, — вспомнил, как однажды, после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку. Несомненно, что сцену эту он рассказывал не одним барышням Круковским (вызвав своим рассказом ужас их матери). Вдова Достоевского, опровергая Страхова и упоминая о варианте «Исповеди Ставрогина», прибавляет, что «эпизод в бане — истинное происшествие, о котором мужу кто-то рассказал». Но он сам передавал об изнасиловании девочки за шесть лет до того, как написал «Бесы» и «Исповедь Ставрогина», и тогда о бане не было и речи. И в 60-ые годы слух, связанный с его именем, уже ходил в петербургских литературных кругах, одновременно с комментариями по поводу взглядов на эмансипацию плоти, господствовавших в его окружении, и одним из распространителей этого слуха являлся бывший сожитель и приятель молодости Достоевского — писатель Григорович. По его словам, во время какого-то процесса об изнасиловании десятилетней девочки, Достоевский воспылал к ней страстью, хотя раньше ее и в глаза не видал, пошел за нею после суда и воспользовался ею. Всё это якобы произошло в начале 60-х годов. А литератор А. Фаресов, со слов современницы Достоевского К. Назаревой, передавал, будто сам Достоевский ей рассказывал, как он соблазнил и гувернантку, и несовершеннолетнюю девочку, к которой та была приставлена. Здесь снова выплывает версия о гувернантке. И, наконец, пишущий эти строки сам слышал в Петербурге в 1916 году от С. А. Венгерова и Д. Н. Овсянико-Кули-

ковского, двух хорошо известных критиков и исследователей литературы, что в литературной среде 80-х годов часто шли разговоры о том, будто в молодости, до осуждения, Достоевский имел какую-то историю с малолетней, и потом в этом раскаивался и никак не мог ее забыть — чем и объясняется болезненный интерес к этой теме в его произведениях.

Этим исчерпываются все данные о так называемой «легенде о растлении малолетней», перед которой в страхе и недоумении останавливаются все исследователи жизни Достоевского. Их особенно смущает то обстоятельство, что у Достоевского был «детский комплекс». Он очень любил детей, хорошо их изображал, и, по свидетельству близких, был всегда с ними нежен и заботлив. И дети платили ему тем же и быстро к нему привязывались: бывший прокурор и известный судебный деятель А. Кони оставил описание поездки с Достоевским в колонию для малолетних преступников, где он сразу завоевал любовь и доверие подростков. Страдания детей очень волновали его, и он неоднократно использовал эту тему — начиная от произведений молодости («Неточка Незванова») и зрелости («Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание»), и кончая «Дневником писателя» и последним романом — «Братья Карамазовы». Но в какой мере его усиленное любопытство к физической и нравственной боли, испытываемой детьми, носило патологический характер, и было ли оно сопряжено с эротическими ощущениями — ответить очень трудно. Одно бесспорно: тема растления малолетней так настойчиво звучит в его творчестве, и он так часто возвращается к ней в жизни, в своих разговорах, что она принимает навязчивый, почти маниакальный характер. Из этого, конечно, не следует делать вывода, что Достоевский действительно изнасиловал маленькую девочку, а затем мучился угрызениями совести и пытался дать исход

расскажию в освобождающем акте исповеди и творчества. Было бы опасно и даже нелепо считать художника способным на изображение лишь того, что с ним действительно случилось в жизни, и во всех его произведениях усматривать живые модели и истинные происшествия. Подобное мнение, к несчастью, распространено гораздо шире, чем мы склонны признать, и именно оно рождает «псевдолитературу», основанную на «фактах»: тысячи дилетантов уверены, что для рассказа или повести достаточно воспроизведение «случая из жизни», а десятки редакторов принимают все эти анекдоты за беллетристику. На самом деле, иллюзия, будто писатель только и делает, что изображает «действительно бывшее», отрицает самые основы художественного творчества и сводит на нет всякую роль воображения. Толстой как-то заметил по поводу своих романов, в которых все искали портретов его родных и знакомых, что его работа ничего бы не стоила, если бы она сводилась к описанию действительно существовавших людей. Для правды художественной отнюдь не обязательно копирование правды жизненной. Достоевскому совсем не надо было насиловать девочку, чтобы сделать такое изнасилование одним из важнейших эпизодов в биографии его героя, как не надо было ему стать убийцей для описания того, как Раскольников зарубил топором ростовщицу и ее сестру.

Но на чем основано творческое воображение? И в какой мере оно определяется — или ограничивается — личным опытом, внешним или внутренним? Здесь опять-таки следует различать помыслы и деяния. Несо осуществленные желания питают художественную фантазию едва ли не больше, чем то, что действительно случается. А их раскрытие в творениях искусства, конечно, объясняет, какие склонности и порывы таились в глубине души их создателя, и дает ключ в его «тайную обитель». В той или иной мере, на какой-то отпре-

зок времени, каждый автор отождествляет себя со всеми персонажами своих произведений, и эта способность перевоплощения, так же как и у хорошего актера, вырастает из внутреннего опыта, независимо от опыта действия и реального осуществления. Иными словами, Достоевскому было достаточно испытать желание к малолетней, не претворяя его в акт, для того, чтобы потом описать сцену изнасилования с потрясающим реализмом: он мог эту сцену пережить во всех деталях в своих мечтах или в сумраке подсознательного. Мы вправе, однако, говорить об интенсивности и длительности подобного желания: оно не попросту шевельнулось в нем, а вновь и вновь приходило и мучило, иначе он не возвращался бы к нему так настойчиво в своих романах. Действительно ли в жизни его была десятилетняя или двенадцатилетняя девочка, растление, баня, гувернантка, — мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем. Но что такого рода сексуальная фантазия в какой-то период жила в нем и терзала его, как кошмар, представляется безусловным всякому, кто вступил в мир сладострастия и извращений, созданный воображением этого гениального мучителя и мученика.

Достоевский неоднократно описывал, как детей наказывают и бьют, и настаивал, что полная их беззащитность, возможность для взрослых распоряжаться по прихоти этими маленькими телами, щипать их, сечь и насиловать, доставляет злое наслаждение и нисходит к самым темным инстинктам. Дети не могут сопротивляться, они точно отданы на растерзание, и это опять-таки его излюбленная тема: именно на детях взрослые осуществляют свое желание неограниченного тиранства, и их моральный, умственный садизм переходит в садизм физический.

Об эротической природе телесных наказаний, о

связи порки с половым наслаждением написано не мало страниц в мировой литературе, начиная от «Исповеди» Руссо и «Жюстины» «божественного маркиза» и кончая «Путешествием в глубь ночи» Селина, но у Достоевского, как и всё, чего он касался, эта тема становится углубленной и метафизической. Он объяснял сечение, пинки, насилие основной жестокостью человека, непреодолимой властью зла над его греховной, испорченной природой, и возводил истязания детей чуть ли не к первородному падению Адама. И в то же время он подчеркивал, что зло, причиняемое детям, и в них самих пробуждает зло: в изнасилованной Ставрогиным девочке, сквозь невинность и чистоту, увидел он двусмысленную, ужаснувшую его улыбку, — предчувствие и предвкушение греха, какой-то ответный огонь: жертва и растлитель оказались соединенными общностью сладострастия, звериности; они связаны родством нечистоты, распаленной плоти, наследственным соучастием в грехе.

Интересен и знаменателен один сон Достоевского, на него почему то до сих пор не обратили внимания психоаналитики: «Сегодня, — пишет он жене в 1873 году, — видел, что Лиля (его дочь) сиротка и попала к какой-то мучительнице, и та ее засекла розгами, большими, солдатскими, так что я уже застал ее в последнем издыхании, и она всё время говорила: «Мамочка, мамочка!». От этого сна я сегодня чуть с ума не сойду!». К этому следует прибавить, что в детстве, как мы уже упоминали, он не мог ни испытать, ни наблюдать телесных наказаний в домашнем кругу, ибо их не существовало в семье доктора Достоевского, как не существовало их и в его собственной семье: сам сделавшись отцом, он никогда пальцем не трогал своих детей.

Конечно, это не исключает ни его тайных помыслов и порывов, ни того, что о них отлично знал и, может

быть, даже и страшился. Здесь опять-таки — двойственность и его характера, и его натуры, и его стремлений. Это необходимо признать — не впадая, однако, в обычную ошибку при толковании его жизни и не принимая воображаемого за реально происшедшее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Помимо тайных движений плоти и скрытых желаний — из них часть находила разряд в жизни, а часть выражение в творчестве, в очистительном усилии вымысла, — у Достоевского было жадное любопытство ко всем ухищрениям и разнообразиям порока, к вариациям и комбинациям страстей, к уклонам и странностям человеческой природы, обнажающим ее дурное и ущербное начало. Это любопытство порождало некоторые особенности его поведения, хорошо известные его друзьям, и объясняло, почему он проявлял такой интерес к «павшим созданиям». Он преклонялся перед «чистейшей прелестью» невинности, обожал Сикстинскую Мадонну, как символ непорочной женственности, и идеализировал «кисейных барышень», но в то же время отлично сходился с уличными женщинами — и не только с бедными жертвами нищеты и городского разврата, но и с прожженными циничными профессионалками, открыто извлекавшими выгоду из своего ремесла. Их грубый эротизм действовал на него неотразимо.

Такой интерес к куртизанке, совсем не напоминавшей святую проститутку Сою Мармеладову, определил характер его встречи с Марфой Браун. Он познакомился с ней в конце 1864 г., в то время, когда потерю жены он всё еще вспоминал как несчастье и Божью кару, и когда нескончаемая разлука с Аполлиной осуждала его на одиночество. В эти тяжелые месяцы

осени и начала зимы он охотно шел на случайные знакомства ради отвлечения и развлечения, а, может быть, в поисках легких объятий, как наркоза.

Марфа Браун родилась в небогатой дворянской семье Паниных и получила недурное образование, но в ранней молодости ушла из дому и «свихнулась». Искательница приключений, она исколесила всю Европу, побывала в Париже, Марсели и Гибралтаре, жила в Австрии, Испании и ряде других стран, торгуя своей молодостью, меняя любовников с необыкновенной быстротой и попадая в самые невероятные переделки. Среди ее друзей имелись шулера и фальшивомонетчики, международные авантюристы и бродяги с большой дороги, без колебания пускавшие в ход нож и револьвер. Связь ее с преступным миром была настолько очевидна, что полиция выслала ее и из Бельгии и из Голландии. Обычно, всё ей сходило с рук сравнительно благополучно, но в Лондоне ее покинуло счастье: она лишилась и денег и покровителей, ходила в отрепьях, голодала и должна была проводить ночи под мостами через Темзу в обществе воров и их подруг. В конце концов ее арестовали и посадили в тюрьму, откуда ее не без труда вызволили принявшие в ней участие методистские миссионеры. Они обули, одели и накормили «заблудшую овцу», снабдили ее душеспасительными книжками, которые она читала с усердием, приводившим их в восторг, и отправили ее на остров Гернзей. Там они убедили ее выйти замуж за матроса Брауна, американца из Балтиморы. Но когда муж ее отправился в дальнее плавание, Марфа убежала с острова на континент и пустилась в путь, пробираясь всякими правдами и неправдами домой, в Россию.

В Петербурге она появилась в начале 60-х годов, ей едва исполнилось тридцать лет, она была еще внешне привлекательна и интересна — много видела и испытала, много читала, недурно писала. Но дела ее ни-

как не устраивались. Сперва она была любовницей Флеминга, подозрительного литератора, игрока и типичного представителя столичного «дна». От него она перешла к Петру Горскому, мелкому сотруднику «Эпохи». Ее новый приятель, алкоголик, типичный представитель богемы, не имевший ни гроша за душой, сильно к ней привязался, очень ее ревновал и одно время пытался вернуть ее на путь истинный, в ту среду, к которой она принадлежала по рождению. Он привел ее в редакцию «Эпохи», достал ей переводную работу (она хорошо знала английский) и всё убеждал ее написать об ее «путешествиях», от чего она упорно отказывалась, полагая, не без основания, что наиболее красочные ее приключения — не для печати. Через Горского она попала к Достоевскому, и он сразу заинтересовался этой необыкновенной женщиной. Жизнь успела основательно потрепать ее, но она ничуть не стеснялась ни своих замашек профессиональной куртизанки, ни своего бурного прошлого. То, что она рассказывала с предельной откровенностью о своих лондонских скитаниях, живо напоминало Достоевскому страницы любимого им Диккенса, и особенно «Оливера Твиста».

Они очень скоро сблизились. В конце 1864 года Марфа попала в Петропавловскую больницу из-за пушляшного недомогания, и Горский прилагал все усилия, чтобы она там задержалась. У него как раз была полоса ужасающей нищеты, он опасался, что Марфа, выйдя из госпиталя и узнав, что ему не на что содержать ее, окончательно его бросит. И он упрашивал докторов и выдумывал хитроумные ходы, чтобы отдалить ее выписку из больницы. Впрочем, и она сама не слишком торопилась: как ни как, в больничной палате было спокойно и сытно, а ей предстояло либо вернуться в грязный угол к Горскому, либо пойти на улицу.

Обо всём этом она рассказывала в письмах к Достоевскому, посвящая его в подробности своих ссор и

сложных отношений с Горским. В ответ Достоевский однажды предложил ей переехать к нему на квартиру и временно жить там. Им двигали, очевидно, не одна жалость и желание дать приют бездомной. Речь шла не только о том, чтобы жить у него, но и жить с ним — и он либо сказал это без обиняков, либо дал понять достаточно ясно. Во всяком случае последнее письмо Марфы из больницы (от начала 1865 года) содержит такую многозначительную фразу: «удастся ли мне или нет удовлетворить вас в физическом отношении и осуществится ли между нами та духовная гармония, от которой будет зависеть продолжение нашего знакомства, но, поверьте мне, что я всегда останусь вам благодарна за то, что вы хотя на минуту или на некоторое время удостоили меня вашей дружбы и вашего расположения». Как далеко шло это расположение и удалось ли Марфе Браун физически удовлетворить Достоевского — мы не знаем. Если даже это и произошло, связь его с ней длилась недолго, потому что через два месяца он увлекся молодой девушкой, являвшейся полной противоположностью беглой жене балтиморского матроса. Возможно, что тут снова действовал закон контраста и полярности, игравший такую роль в жизни и мышлении Достоевского.

Эпизод с Марфой Браун кладет конец его «кабацким знакомствам». Тот повышенный интерес, который он в молодости питал к «потерянным личностям» и петербургским трущобам, как будто истощается в середине шестидесятых годов, и он всё реже и реже посещает ночные заведения и подозрительные кварталы. Вообще, к 1865 году, после Аполлинарии, страсти его улеглись и очень многое в нем перегорело. У таких людей, как Достоевский, эротические особенности и желания не становятся привычкой, они в какой-то момент достигают предельной остроты, вспыхивают пожаром, и затем отгорают или перерождаются. Они те-

ряют свою пронзительность и болезнетворную силу, их вирус слабеет, жар крови спадает, они превращаются в нечто новое или остаются тяжелым грузом воспоминаний, действующих только как сексуальные фантазмы. Начиная с 1865, мазохизм и садизм Достоевского, его комплексы, связанные с малолетними, его сексуальная распаленность и любопытство, словом, вся патологическая сторона его эротической жизни, утрачивают характер неистовства и маниакальности, притупляются, и он сознательно стремится к тому, что может быть названо «нормализацией» его половой деятельности. В связи с этим усиливается его мечта о браке и его тяготение к молодым девушкам на выданьи.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Летом 1864 года Достоевский получил рассказ «Сон» с препроводительным письмом автора, Анны Васильевны Корвин-Круковской, проживавшей в обширном имении Палибино, Витебской губернии. Отец ее, генерал-лейтенант в отставке и губернский предводитель дворянства, вёл свой род от венгерского короля Матвея Корвина, потомки которого переехали в XV веке на Литву и породнились через бояр Глинских с русскими царями. Человек старого закала, он дал своим двум дочерям светское воспитание, с иностранными боннами и гувернантками, и старался внушить им дух родовой гордости, но не сумел уберечь их от либеральных идей 60-х годов. Старшая дочь, мечтательная и романтическая Анна, решила стать писательницей, и тайком от домашних послала свой первый опыт редактору «Эпохи»: она восторгалась его романами. В ее произведении была описана молодая девушка, не осмелившаяся из-за светских условностей отдать свое сердце бедному студенту; вещий сон раскрывает ей самой ее истинные чувства, она решает, наконец, пренебречь приличиями и предрассудками, но узнает, что студент ее умер; вскоре умирает и она сама, сожалея о напрасно растроченной молодости. Рассказ — весьма типичный для эпохи — был очень слаб художественно, но в нем подкупала искренность и свежесть, а письмо юной авторши произвело на Достоевского такое впечатление своей верой в жизнь и неподдельным энтузи-

азмом, что он решил напечатать ее «Сон» в очередной книжке своего журнала и немедленно ответил ей, спрашивая, сколько ей лет и «каковы обстоятельства ее жизни». У него, очевидно, была короткая память, и он забыл недавний и дорого ему стоивший опыт с другой литературной дебютанткой. Переписка, завязавшаяся между 20-летней барышней и 43-летним редактором, шла либо через палибинскую экономку, либо через приятельницу Анны, дочь петергофского коменданта Евреинова, и была сугубо тайной, чтобы не вызвать гнев отца. Для генерала, по словам его младшей дочери, женщины-писательницы были олицетворением всякой мерзости, он относился к ним с наивным ужасом и негодованием, считал каждую из них способной на всё дурное и приводил в качестве примера развратную Жорж Занд, носившую штаны. Каково же было ему знать, что его любимица примкнула к этому ненавистному отродью! Он сделал это горестное открытие при самых неподходящих обстоятельствах, во время пышного бала, устроенного по случаю именин его жены: ему попало заказное письмо от Достоевского со вложением гонорара за «Сон». Мысль о том, что его родная дочь может переписываться с незнакомым мужчиной, бывшим каторжником, да еще получать от него деньги, показалась Корвин-Круковскому настолько чудовищной и позорной, что ему стало дурно. В доме разразился страшный скандал. Отец не хотел простить Анны, пока она не даст обещания больше не заниматься таким неприличием, как сотрудничество в журналах. Она не соглашалась и упорствовала, мать бегала от одной к другому, уламывая и уговаривая. В те годы подобные ссоры происходили во многих дворянских семьях: между отцами и детьми шел небывалый разлад, и борьба молодого поколения, особенно дочерей, за не-

зависимость принимала характер открытого восстания против родительского авторитета и веками освященных традиций послушания и безмолвия.

Генерал, в конце концов, согласился выслушать рассказ в чтении дочери, не нашел в нем ничего скандалезного, а, напротив, растрогался и сменил гнев на милость: Анне удалось убедить отца, что времена переменились и прежние понятия подверглись пересмотру. Под напором дочерей и жены, ему пришлось отступить по всему фронту: второй рассказ Анны о послушнике Михаиле, воспитанном вдали от семьи в монастыре дядей монахом, был напечатан в сентябрьской книжке «Эпохи», а гонорар за него получен в декабре. Переписка Анны с Достоевским продолжалась, хотя все письма шли на прочтение отцу, и ей даже было разрешено повидать писателя во время ее ближайшей поездки в столицу. При этом Корвин-Круковский предупредил жену: «Помни, Достоевский — человек не нашего общества, что мы о нем знаем? Только что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация, нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным!».

В начале 1865 Корвин-Круковская с 20-летней Анной и 14-летней Софьей отправилась в Петербург. До железной дороги надо было ехать 260 верст на лошадях: впереди, на тройке с бубенцами — горничные с поклажей, а затем — барыня и барышни в крытом широком возке на полозьях, запряженном шестеркой цугом.

В конце февраля 1865 года Корвин-Круковские поселились в доме у старых тетушек на Васильевском острове, и Анна тотчас же пригласила Достоевского в гости. Первое свидание было несудачно: помня наказ мужа, мать ни на минуту не оставляла дочерей наедине с опасным гостем, семидесятилетние тетушки и Анна с

Софьей смотрели на Достоевского как на редкостного зверя. Он и конфузился и злился среди этих старых барынь и чинных аристократических девиц. В этот день он казался старым и больным, как всегда, впрочем, когда бывал не в духе, нервно пощипывал свою жидкую русую бороду и кусал усы, причем всё лицо его передегивалось. Из салонного разговора ничего не вышло, он отвечал односложно, с преднамеренной грубостью.

Но через пять дней он неожиданно явился, кроме сестер в доме никого не было, он взял Анну за руку, посадил ее подле себя на диван, и лед был сломлен. Они немедленно подружились, а темноглазая Софья, смотревшая, раскрыв рот, на знаменитого писателя, совершенно в него влюбилась.

Анне Васильевне Корвин-Круковской шел в ту пору 21-ый год. Она была очень хороша собой: высокая, гибкая и стройная, с прекрасным цветом лица, глубокими зелеными глазами и огромной массой шелковистых белокурых волос, заплетенных в две косы, свешивавшихся ниже пояса. В семье ее считали красавицей и звали русалкой. Это была очень неглупая, отлично воспитанная светская барышня, остроумная и живая, несколько наивная и непрактичная, но очень прямодушная и решительная. Ее увлекали идеи свободы, женского равноправия и социального прогресса, и она была им глубоко предана, всецело разделяя воззрения русских радикалов и французских социалистических мыслителей. Материализм Бюхнера и Молешотта — двух самых популярных философов 60-х годов, — соединялся в ее уме с коллективистическими учениями Фурье, Сен Симона, Прудона и Кабэ — их сочинения Достоевский читал в молодости, когда он участвовал в кружке петрашевцев. Сейчас он совершенно отошел от них. Да кроме того, он очень не любил их современных последовательниц, стриженных нигилисток с клетчатый пледом на плечах, щеголявших резкостью вы-

ражений и затягивавшихся крепкими папиросами для доказательства независимости нравов. Но тут нигилисткой оказалась разодетая барышня с великолепными косами, и пахло от нее не табаком, а французскими духами. Достоевский был очарован. Ему нравилось бывать у нее, разговаривать с ней, он приходил по три-четыре раза в неделю, и они очень сблизились. Мать и тетушки часто уезжали в гости или театр, и он оставался наедине с обеими сестрами. Когда присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием, как Анна и Софья, он оживлялся, произносил целые монологи, рассказывал содержание задуманных романов, иногда сцены из собственной жизни. Он был, вероятно, откровеннее с этими двумя молодыми девушками, чем со своими старыми друзьями. Он описал им, как на Семеновском плацу, с того места, где он стоял, ожидая казни, солнце вышло из-за туч, засиял золоченый купол церкви, и он упорно смотрел на него, на яркие лучи, думая, что через пять минут сольется с ними, и испытывая физическое отвращение перед смертью. К удивлению своих слушательниц, он также говорил — совершенно открыто — о падучей: по его словам она началась у него в Семипалатинске, в пасхальную ночь. К нему под Светлый Праздник приехал товарищ — атеист, они проговорили всю ночь и горячо спорили о религии. «Есть Бог, есть!» — закричал Достоевский, вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола к Светлой Христовой Заутрени, и ему показалось, что небо сошло на землю и поглотило его. «Да, есть Бог!» — воскликнул он и упал в судорогах и беспамятстве.

Рассказывая всё это, он обращался к Анне, не замечая, с каким волнением вслушивалась в каждое его слово черноволосая Соня; она, не отрываясь, впивалась в него своими карими глазами — он называл их цыганскими. Она без памяти полюбила Достоевского

восторженной любовью подростка, в которой детское обожание смешивалось с предчувствием женской страсти. Она мучилась, плакала, мечтала о нем, и в грезах пережила целый бурный роман с ничего не подозревавшим писателем, бывшим в три с половиной раза старше нее. Эта девочка, так увлекшаяся Достоевским, стала впоследствии одной из самых знаменитых русских женщин, ученой и профессором математики, и ее имя — Софья Ковалевская — разнеслось и на родине и по Европе. Она прожила недолгую, но блестящую, очень полную и даже романтическую жизнь, и осталась верна своей ранней привязанности, поддерживала знакомство с Достоевским, виделась с ним, считала себя его другом, и до самой смерти сохранила к нему живое чувство дружбы и поклонения.

Но в марте и апреле 1865 ее соперницей — и соперницей счастливой — была ее родная сестра: всё внимание Достоевского было обращено на Анну. За два весенних месяца он был так пленен ею, что ему показалось, будто она-то и есть «избранница его сердца и может составить его счастье», как писали в старинных романах. Мысль об этом вызвала перемену в его отношениях к молодой девушке. Он стал придиричив и нервен, упрекал ее за то, что она ходила на бал или недостаточно ценила Пушкина, сердился за ее, как он называл, «вздорность», бранил за ничтожество: вообще со стороны могло показаться, что он готов с ней рассориться. Всё это было типичным для него камуфляжем: он особенно дурно обращался с ней в те дни, когда собирался с духом, чтобы сделать ей признание в любви и просить ее руки. Это не была ни любовь с первого взгляда, ни страсть: он попросту был очень чувствителен к очарованию молодости, к общению с милой и прелестной девушкой. После всего, пережитого с Аполлинарией, дружба с Анной Корвин-Круковской подарила ему такие часы простого и тихого наслаж-

дения, что он уверовал: вот где спасение, вот где выход. Анна не казалась нежным и слабым созданием, у нее был характер, и даже сильный, но в нем не сквозило ничего хищного и злого, как в Аполлинарии, и энергия ее была направлена на самопожертвование и служение. Она всегда говорила о служении «делу и идеям», но ведь идеализм ее мог бы найти применение и в семейной жизни. И так как брак Достоевскому был необходим, и он мечтал о нем, и так как Аполлинария была далека и не любила его, он перенес все свои надежды на эту только что встреченную девушку и уверил и себя и ее, что он в нее влюблен. Однажды вечером, когда они остались вдвоем, он сказал ей о своих чувствах и спросил, согласна ли она стать его женой. Возможно, что она ответила уклончиво, или во всяком случае не в окончательной форме, и то, что Достоевский принял за согласие, было лишь неопределенным обещанием. Но он считал ее своей невестой, да и ей в какой-то момент было и весело, и жутко, что такой человек, как Достоевский, предлагает ей руку и сердце. Она мечтала стать писательницей, и брак со знаменитым автором «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных» представлялся ей исполнением ее заветных желаний. Она не думала ни о его возрасте, ни об его наружности, а бедность и болезни казались ей досадными подробностями, не заслуживающими особого внимания. Со своим обычным полетом фантазии Достоевский старался убедить ее, что полюбил ее с первой минуты, как увидел, да и раньше, по письмам, уже предчувствовал, что любит ее не дружбой, а всем своим существом. Но на самом деле, с обеих сторон, отношения не выходили за пределы симпатии. У него было расположение наполовину отцовского, наполовину эротического типа, столь для него характерное в дружбе с молодыми девушками, а у нее к нему было уважение, немножко женской жалости к его страданиям, и то ощущение

его превосходства, которое ей так импонировало. То, что они называли любовью, была наполовину умственная, наполовину литературная дружба — и поэтому она сильно пострадала и от споров на отвлеченные темы, и от попыток Достоевского подойти к ней с известными эмоциональными требованиями.

Казалось бы, решительное объяснение с Анной и его сравнительно удачный исход должны были окрылить Достоевского и сделать его радостным и веселым. Но вместо этого, подозрительность его усилилась, он стал требовать от нее отчета в каждом ее движении и не скрывал своей враждебности ко всем, кто ей нравился. Его пригласили на званый вечер, устроенный матерью и тетушками Анны, он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот сидел на нем и дурно, и неловко, и внутренне бесил его.

«Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной, — рассказывает Софья Ковалевская, — как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, не симпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь», и поэтому спорил с гостями, придирался к ним, вел себя злобно, вызываяще и смешно. Поведение его не послужило ему на пользу в глазах Анны, а тут еще пошли более серьезные трения.

Как ни преклонялась Анна перед гением Достоевского, она никак не могла слепо принимать все его взгляды. Они постоянно ссорились из-за его отрицательного отношения в новым веяниям. Анна защищала веру в прогресс, науку и социализм, а Достоевский насмехался над этими «идолами века». Кроме того, она начала соображать, что вовсе не любит его той любовью, какая необходима для замужества. От сомне-

ний в своем чувстве она перешла к вопросу, сойдутся ли они характерами.

«Ему нужна совсем не такая жена, как я, — говорила она младшей сестре, испытывавшей от этих слов безумную радость, — его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить. К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя: при нем я никогда не бываю сама собою».

Перед отъездом Анны из Петербурга между женихом и невестой произошло искреннее объяснение, и он, по его словам, «вернул ей ее слово». Вот как он сам потом об этом рассказывал:

«Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, у нее прекрасное доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств, но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна: навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива».

Пожелание его осуществилось: через четыре года в Париже она вышла замуж за французского революционера Виктора Жаклара, принимала участие в коммуне 1871 г., затем, после многих приключений и трудностей, переехала с мужем в Россию. До самой смерти (1887 г.) она сохранила свои левые убеждения, но они не помешали ее дружбе с Достоевским. В середине семидесятых годов, когда Анна Жаклар проживала в Петербурге, она часто виделась с ним и его семьей. Он любил беседовать с ней и охотно бывал у нее. Одно лето они провели бок о бок в Старой Руссе, и тогда

он заходил к ней чуть ли не ежедневно. Повидимому, короткий их роман не породил ни обиды, ни горьких воспоминаний, и даже наоборот, положил начало прочным дружеским отношениям: это только лишний раз доказывает, что он не отличался ни страстью, ни особенной глубиной.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Хотя попытка сватовства к Анне Васильевне и окончилась неудачей, Достоевский не оставлял мысли о женитьбе. Брак стал опять его «неподвижной идеей» — и не только из-за одиночества и потребности в близком человеке: некоторую роль играли и внешние условия. В доме у него царил ненавистный ему беспорядок, хозяйство велось кое-как, в неудобной квартире не удалось наладить приличной обстановки для работы, и некому было позаботиться о Паше. Достоевский знал все недостатки этого несносного и назойливого юноши, но относился к нему, как к сыну, и остро чувствовал свою ответственность за его судьбу.

В начале 1866 года он целиком отдался писанию «Преступления и наказания», и лето проводил в Люблянах, с семьей сестры своей, Веры Михайловны Ивановой. Она тоже уговаривала его жениться и даже предлагала невесту — свою золовку, Елену Павловну Иванову. Она была замужем, но муж ее был опасно болен, кончины его ждали с минуты на минуту — что не помешало ему всех обмануть и прожить еще три года. Послушавшись совета сестры, Достоевский спросил Елену Павловну, милую, простую, но ничем не замечательную женщину, вышла ли бы она за него, если бы была свободна. Елена Павловна дала ответ неопределенный, его при желании можно было истолковать и как благоприятный, и эта его туманность вскоре причинила Достоевскому несколько неприятных минут.

Она отлично понимала, что речь тут не о любви, а о деловом предложении, о браке по расчету.

Тем же летом 1866 года, в письме к Анне Васильевне (от 17 июня), он рассказал своей бывшей невесте о том, что особенно угнетало и даже мешало работать в данный момент. Ровно год тому назад, когда очень сдавила нужда, осаждали кредиторы и нужны были деньги для поездки за границу, к Аполлинару, — он подписал грабительский контракт с жуликоватым и скупым издателем Ф. Стелловским, уступив ему за три тысячи рублей право на издание трех томов его сочинений и обязавшись представить к 1-му ноября 1866 г. новый роман в 12 печатных листов. В случае невыполнения последнего пункта он должен был внести неустойку и терять авторские права на все три тома в течение девяти лет. Было совершенно ясно, что Стелловский именно на это и рассчитывал: он отлично знал, что Достоевский будет занят очередным романом для журнала, и одновременно написать новое произведение ему не удастся. Аванс Стелловского был немедленно истрачен — часть его пошла на уплату векселей, прежде скупленных за бесценок у кредиторов тем же Стелловским. И только когда исчез последний рубль, Достоевский понял, какую петлю он надел себе на шею, подписав обязательство. Для того, чтобы как-нибудь избавиться от грозившей ему кабалы, он решился на крайнюю меру.

«Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь, — сообщает он Анне Васильевне, — написать в четыре месяца 30 печатных листов в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером, и кончить к сроку. Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, что до сих мне вот такие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно и... живущих людей. Простите: похвастался!.. Я убежден, что ни единый из литераторов

наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли».

Один из романов было «Преступление и наказание», его он должен был закончить в срок для «Русского Вестника», вторым предполагался «Игрок», существовавший лишь в планах, заметках и нескольких начерно набросанных главах.

После дачи в Люблинах, где он много и хорошо работал, Достоевский приехал в конце сентября в Петербург и по совету своего хорошего знакомого, педагога и литератора А. Милюкова, решил взять стенографистку для осуществления своего «эксцентрического плана». Стенография в то время была новинкой, владели ею немногие, и Достоевский обратился к учителю стенографии П. Ольхину. Тот предложил работу над романом своей лучшей ученице, Анне Григорьевне Сниткиной, но предупредил ее, что у писателя «странный и мрачный характер» и что за весь труд — семь листов большого формата — он заплатит лишь 50 рублей.

Анна Григорьевна поспешила согласиться не только потому, что зарабатывать деньги своим трудом было ее мечтой, как и большинства девушек русского общества ее времени, добивавшихся изо всех сил финансовой самостоятельности, но и потому, что она знала имя Достоевского, читала его произведения, плакала над «Записками из мертвого дома», была влюблена в Ивана Петровича, скромного и благородного героя «Униженных и оскорбленных», и невольно отождествляла его с автором. Возможность познакомиться с известным писателем и даже помогать ему в литературной работе обрадовала и взволновала ее. Это была необыкновенная удача.

Отец Анны Григорьевны, средней руки чиновник, умер за год до этого, и она еще носила по нем траур. Он оставил жене и детям — двум дочерям и сыну, —

деревянные домики на Песках, возле Смольного Монастыря, это была тогда дальняя окраина столицы. В одном помещалась семья Сниткиных, другой сдавали в наем и жили на доход с квартирной платы. Мать Анны Григорьевны, финка шведского происхождения, Мильтопеус, в молодости была очень хороша собой, но оказалась разборчивой невестой и засиделась в девицах: за Сниткина она вышла, когда ей было уже 27 лет — и без особенной радости: ему было за сорок. Но хотя с обеих сторон не было пылкой любви, брак вышел удачным: оба были люди простые, и невзыскательные, порядочные и добрые. В ней сказывались деловитость и энергия северянки, он же был мечтателен и ленив, как и его украинские предки. Главным событием его тихой и ничем не примечательной молодости была влюбленность в рано умершую трагическую актрису Асенкову. От этого возник его интерес к театру и литературе. Он охотно и много читал, и имя Достоевского Анна Григорьевна впервые услышала от отца. Она с ним очень дружила, разделяла его вкусы и мечты, как и он, была религиозна, соблюдала праздники и обряды, и усердно молилась в церкви. Она окончила гимназию с серебряной медалью, чем всегда гордилась, и даже побывала на педагогических курсах, но оставила их, чтобы заняться чем-нибудь более практическим и обеспечивающим заработок. Стенография входила тогда в моду, и Анна Григорьевна начала изучать ее. Она не любила нигилисток, была консервативна в политических взглядах, но считала себя передовой шестидесятницей, и во всём, что касалось женского равноправия, образования и денежной независимости, горячо поддерживала представителей радикальной молодежи. Сочувствовала она и общему протесту своего поколения против условностей, светских предрассудков и дворянского прекраснодушия, обычно соединенного с обломовской ленью и гамлетизмом лишних людей.

Анна Григорьевна была невысокая худощавая 20-летняя девушка с овальным лицом и очень хорошими, пронизательными и глубокими серыми глазами. Те, кому она нравилась, хвалили ее открытый лоб, слегка выступающий энергический подбородок, нос с изящной японской горбинкой, красивые зубы с голубоватым отливом и пепельные волосы. Недоброжелатели обращали внимание на огрубелые от неустанного труда мозолистые руки, и нехороший, не то серый, не то желтоватый цвет лица: она часто бывала бледна той бледностью, какую видишь у человека, сильно потрясенного волнением. Ее учительница Стоюнина утверждала, что Анна Григорьевна с юности отличалась живым, пылким темпераментом: «она из тех пламенных натур, у кого трепещущее сердце, не знающее ровного спокойного биения». Другие современники подчеркивали ее чувство юмора и способность владеть собой, не смотря на внешнюю порывистость.

Получив от Ольхина адрес Достоевского, она плохо спала всю ночь: ее пугало, что завтра придется разговаривать с таким ученым и умным человеком, она заранее трепетала. Вообще литераторы представлялись ей высшими существами, а автор «Униженных и оскорбленных» и подавно. Она воображала, что он — глубокий старик, но идеализация его образа, кристаллизация чувства поклонения и даже любви совершилась в ней еще до того, как она встретила с ним.

На другой день, 4 октября 1866 года, она явилась в Столовый переулок, угол Малой Мещанской, дом Алонкина. Это было большое здание со множеством квартир, населенных людьми среднего достатка, по преимуществу купцами и ремесленниками. Хозяин дома, тоже купец, Алонкин, истовый и медлительный старик, очень уважал Достоевского: он видел у него в окнах свет по ночам и говорил: «то — великий трудолюбец!».

Возможно, что Алонкин послужил прототипом купца, покровителя Грушеньки, в «Братьях Карамазовых».

Достоевский жил с Пашей, и у него была «прислуга за всё», Федосья, не слишком умная, но преданная. Обстановка квартиры была скромная, даже бедная. В скудно мебелированном кабинете висел портрет сухощавой дамы в черном платье: то была Марья Димитриевна.

Когда Достоевский вошел в комнату, где его ждала Анна Григорьевна, молодая девушка обратила внимание на его разные глаза. Он держался прямо, его светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были напомажены и гладко приглажены, на нем был хорошо сшитый, но несколько потертый костюм и свежее, очень чистое белье. Хотя он выглядел гораздо моложе, чем она предполагала, он ее слегка разочаровал. Он был нервен, нетерпелив, рассеян, всё забывал ее имя, переспрашивал и снова забывал, и никак не мог решиться и приступить к работе. В конце концов он предложил ей придти вечером. А на прощанье удивил ее неожиданным замечанием: «я был рад, когда Ольхин предложил мне девушку, а не мужчину, и знаете почему?». — «Почему?», — повторила Анна Григорьевна. — «Да потому что мужчина уж наверно бы запил, а вы, я надеюсь, не запьете». Она вышла, едва сдерживая смех, но в общем первое впечатление от Достоевского было у нее тяжелое. Впрочем, оно рассеялось, когда она пришла к нему во второй раз, вечером. Подали чай, он сказал, что ему понравилось, как она себя держала утром — серьезно, почти сурово, не курила и вообще не походила на развязных и самонадеянных девиц современного поколения. Потом он разговорился, вспоминал, как ожидал расстрела на Семеновском плацу, а после помилования ходил по каземату и всё пел, громко пел, радуясь дарованной ему жизни. Ее удивило, что этот по виду скрытный и

угрюмый человек так откровенно говорил с молодой девушкой, почти девочкой, которую он видел в первый раз в жизни. Только впоследствии она поняла до чего он был одинок в это время, до чего нуждался в тепле и участии. От нее к нему шел ток внимания и дружбы, он сразу ощутил его, и это сделало его разговорчивым не по обычаю. Ей очень понравились его простота и искренность — но от слов и манеры говорить этого умного, странного, но несчастного, точно всеми заброшенного существа, у нее что-то екнуло в сердце. Она потом сказала матери о сложных чувствах, пробужденных в ней Достоевским: жалость, сострадание, изумление, неудержимая тяга. Он был обиженный жизнью, замечательный, добрый и необыкновенный человек, у нее захватывало дух, когда она слушала его, всё в ней точно перевернулось от этой встречи.

Для этой нервной, слегка экзальтированной девушки, знакомство с Достоевским было огромным событием: она полюбила его с первого взгляда, сама того не сознавая.

А на другой день, придя к нему, она застала его в неописуемом волнении: он не записал ни ее адреса, ни ее фамилии, а так как она сейчас запоздала, он уже вообразил, что она потеряла стенограмму, взятую вчера с собой для переписки, и больше никогда не вернется.

С этих пор они ежедневно работали по несколько часов. Он писал «Игрока» по ночам, а днем, от 12 до 4 диктовал ей написанное. Дома она разбирала и переписывала начисто стенограмму, и на другой день Достоевский исправлял принесенную ею рукопись. Первоначальное чувство неловкости исчезло, он охотно разговаривал с ней в перерывах между диктовкой и рассказывал о всех тяжелых обстоятельствах своей молодости и последних лет. Он с каждым днем всё больше привыкал к ней, называл ее «голубчик, милочка»,

и ее радовали эти ласковые слова. Скоро выяснилось, что работа идет успешно, «Игрок» мог поспеть к сроку, это очень окрылило Достоевского, и он был благодарен своей сотруднице, не жалевшей ни времени, ни сил, чтобы помочь ему. Теперь она уж не боялась его, расспрашивала о браке с Марьей Дмитриевной и о Паше, давала ему хозяйственные советы. Ее сильно огорчали безалаберность и бедность его жизни. Однажды она заметила исчезновение из столовой китайских ваз, привезенных им из Семипалатинска, в другой раз вечером увидала, как он хлебал суп деревянной ложкой: серебряные были в закладе, как и китайские вазы. В доме зачастую не было буквально ни гроша, но Достоевский добродушно относился к такого рода неприятностям и точно не придавал им значения — а на ее взволнованные упреки отвечал, что подобные мелочи не могут смущать его после тех подлинно тяжелых испытаний, какие выпали на его долю.

— Зачем вы вспоминаете об одних несчастьях? — спросила она его: — расскажите лучше, как вы были счастливы.

— Счастлив? Да счастья у меня еще не было, по крайней мере такого счастья, о котором я постоянно мечтал. Я его жду. На днях я писал моему другу барону Врангелю, что, несмотря на все, постигшие меня горести, я всё еще мечтаю начать новую счастливую жизнь. Эту свою живучесть он называл кошачьей и сам удивлялся способности строить планы и открывать новую главу жизни в 45 лет.

Однажды Анна Григорьевна застала его в особенно тревожном настроении. Он сказал ей, что «стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути: или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим (он даже запасся рекомендательными письмами для русского посольства в Турции), и, быть может, там навсегда остаться, или поехать за границу

на рулетку и погрузиться всей душой в так захватывавшую его всегда игру, или, наконец жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье». Она не подумала о том, почему он ставил на одну доску уход в святость, прыжок в азарт и создание семьи, и посоветовала ему жениться вторично.

— Так вы думаете, — спросил Достоевский, — что я могу еще жениться? Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать: умную или добрую?

— Конечно, умную.

— Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и любила.

Потом он спросил ее, почему она не выходит замуж. Она ответила, что сватаются двое, оба прекрасные люди, она их очень уважает, но не любит, а ей хотелось бы выйти замуж по любви. «Неприменно по любви, — горячо поддержал он ее, — для счастливого брака одного уважения недостаточно».

Они так полюбили беседовать по душам, так привыкли друг к другу за четыре недели работы, что оба испугались, когда «Игрок» подошел к концу. Достоевский боялся прекращения знакомства с Анной Григорьевной. Он не шутил, говоря, что предпочитает добрую жену умной: именно доброты со стороны женщин доставало ему в жизни, и в Анне Григорьевне он почувствовал прежде всего нежное сердце. После Аполлинару и даже Корвин-Круковской ему было внове встретить женщину, основным достоинством которой была доброта. Марья Димитриевна тоже пожалела его в первые месяцы их знакомства, но это было мимолетно и не удержалось, потом роли переменились, ему приходилось жалеть ее, да и с тех пор прошло свыше десяти лет. И впервые за это десятилетие он встретил существо, проявлявшее к нему подлинное участие: она думала о том, чтобы ему было удобно, чтоб он во вре-

мя ел и спал, тревожилась о его здоровье и об его писательстве, интересовалась его материальным устройством и душевным покоем. Он совершенно не был причлен к такой роскоши. Ее заботы и трогали и смущали его — но это было приятное, радостное смущение. И кроме того, он увидел, до чего она была ему нужна, и это тоже являлось новостью. Их связывало литературное сотрудничество. Она, действительно, помогла ему, как никто раньше не помогал, и опять-таки это был для него первый опыт: молодая девушка оказалась товарищем и помощницей в самом важном для него деле — творчестве. Другие женщины скорее ему мешали, а эта ему содействовала. Мог он найти лучшую подругу? Но он всё же колебался: разве мог он мечтать о большем, чем дружба? Он отлично понимал, до чего жалок и смешон пожилой, некрасивый мужчина, добивающийся любви молоденькой девушки. А смешным он быть не хотел, самолюбие его было как открытая рана, и он не желал прибавлять нового отказа к обидам прошлого.

29 октября Достоевский продиктовал Анне Григорьевне заключительные строки «Игрока». В 26 дней он написал и продиктовал десять листов, план его был осуществлен. 31 октября рукопись была отправлена Стелловскому через полицию: недобросовестный издатель нарочно уехал из города, чтобы подвести Достоевского, а служащие его конторы отказались взять принесенный писателем роман.

Через несколько дней, 8 ноября, Анна Григорьевна пришла к Достоевскому, чтобы сговориться насчет работы над окончанием «Преступления и наказания». Он явно обрадовался ее приходу, но был то весел, то грустен, то странно возбужден. Вместо делового разговора, он принялся рассказывать ей о своих снах и вдруг разразился вдохновенной импровизацией: он хотел написать роман о пожилом и больном художнике,

встречающем молодую девушку Аню. Он подробно описывал и художника, и его жизнь, и его творческие искания. Когда он упомянул имя «Аня», Анна Григорьевна тотчас же подумала об Анне Васильевне Корвин-Круковской: он рассказывал ей об этой бывшей невесте и получил от нее сегодня письмо из-за границы. Она совершенно забыла в этот момент, что ее тоже звали Анной. Посвятив ее в план романа, Достоевский спросил, считает ли она психологически возможным, чтоб молодая девушка полюбила такого старого, и больного человека, как его герой художник. Анна Григорьевна, увлекшись проектом нового произведения, начала горячо доказывать, что это вполне вероятно, если у героини хорошее сердце. В ее любви тогда не будет никакой жертвы, а болезнь и бедность не так уж страшны, любят не за внешность и богатство.

Он помолчал, как бы колеблясь, а потом сказал: «Поставьте себя на ее место, представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Что бы вы мне ответили?».

Лицо его при этом выражало страшное смущение и сердечную муку. Анна Григорьевна, оправившись от изумления и неожиданности, поняла, что это не просто литературный разговор. «Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь», — сказала она, подымая на него свои глаза.

Ровно год тому назад на такое же предложение Аполлинария ответила насмешливым отказом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Достоевский начал писать «Игрока» у смертного одра Марьи Дмитриевны. Роман этот был об Аполлинарии. И закончил он его благодаря Анне Григорьевне. Так это произведение странным образом соединило невидимыми нитями три самых больших любви его жизни.

Но в тот момент, когда Достоевский делал предложение своей стенографистке, он еще не подозревал, что она займет в его сердце еще большее место, чем все другие его женщины. Он наполовину повиновался инстинкту, тому глухому и тайному голосу, который всегда руководил им в ответственные минуты. Но он наполовину следовал расчету. Он доверял Анне Григорьевне, он чувствовал, что она родная и добрая, но он не был в нее влюблен, он только верил в обещание любви. Эта надежда подкрепляла умственные соображения, толкнувшие его на решительный шаг. Она была добра, она была ему нужна, он томился в одиночестве, он искал в браке душевной поддержки и только брачная привычка могла освободить его от непостоянства чувственности, от этой качели пола, с ее утомительными взлетами и падениями. Он уважал брак, как освященное церковью и Богом сожителство, дававшее религиозную основу и оправдание эротизму; и брак представлялся наилучшим ружьем против измены и обмана. В браке и семье видел он окончательное закрепление и оформление своего существования, он

хотел к чему-нибудь прилепиться, иметь хоть что-нибудь постоянное, твердое, на что можно было бы положиться и что можно было бы противопоставить, как спасительный контраст, вихревому раздору и движению его мыслей и образов. В молодости он был на краю душевной болезни — излечение пришло от шока ареста и ссылки. Сейчас ему нужно было излечение другого рода: эмоционально, физически, сексуально следовало ему обзавестись женой и семьей, чтоб в личное и семейное уходить из своего фантастического мира видений и идей, неистребимых страстей и жгучих страданий. И кроме того, было в нём всегда тайное стремление отказаться от собственной необыкновенности, не быть гением, эпилептиком, богоискателем, каторжником, развратником, идеалистом, — и стать как все. А особенно стать как его родители, жить по ими завещанному строю, повторить их опыт и благодаря этому воскресить умиротворяющее ощущение детства.

Брак был ему необходим, он сознавал это и готов был жениться на Анне Григорьевне «по расчету», как он называл всё это сплетение сознательных выкладок и инстинктивных стремлений. О молниеносной любви с его стороны и речи быть не могло. Он даже не сразу разглядел женщину в строгой и аккуратной своей секретарше. Уже по окончании «Игрока», в день его рождения, Анна Григорьевна пришла его поздравить в новом платье, лиловом, вместо обычного черного, оно делало ее выше и стройнее, он впервые ощутил тогда ее женскую привлекательность — и это поразило его, как чудесное открытие. Он и не подозревал, что она может пробудить желание. Его прежде гораздо более привлекало соединение ее серьезности и жизнерадостности: она работала, как взрослая, а когда он стал ездить к ней в дом, веселилась, как дитя. Впрочем, вскоре именно это сочетание детскости и сдержанности превратилось для него в источник эротического

притяжения. Его, как всегда, тянуло к молодости; тот факт, что Анне Григорьевне было лишь двадцать лет, возбуждало, сулило в будущем физическое наслаждение. Но именно разница в годах представляла опасность и вызывала сомнения, и на этом попробовали играть его родственники, едва им стало известно о сватовстве их главного кормильца. И Паша, и Эмилия Федоровна с детьми сочли его проект брака серьезной угрозой их собственному благополучию и не скрывали своего недовольства. Они принялись всячески пугать Достоевского: неужели он не понимал, что в его годы уже поздно заводить новую семью, что двадцатилетняя девушка вряд ли останется верной 45-летнему больному мужу?

Мать Анны Григорьевны, узнав об обручении, не перечила дочери, но особенного удовольствия не выразила, а родственники и друзья начали отговаривать ее от брака с бедняком и эпилептиком, обремененным долгами и семейными обязательствами, да еще по слухам обладателем дурного и вспыльчивого характера. Главным аргументом опять-таки была разница в возрасте. 25 лет спустя, родная дочь спросила Анну Григорьевну, как она могла влюбиться в мужчину, годившегося ей в отцы, и мать ответила ей с улыбкой: «Но он был молод, он был интереснее и живее молодых людей моего времени. Они все носили очки и выглядели, как старые и скучные профессора зоологии». Она была настолько им очарована, что попросту не замечала ни его морщин, ни его тика, ни усталого выражения его глаз, ни седеющих висков. А он, несмотря на все предупреждения родственников, отлично знал, что только в обществе молодых девушек у него появлялась радость бытия и надежда на счастье.

Во время короткого жениховства оба были очень довольны друг другом. Достоевский каждый вечер приезжал к невесте, привозил ей конфеты, рассказы-

вал о своей работе: в ноябре он закончил третью часть «Преступления и наказания» и приписывал это ее благотворному влиянию. Он посвятил ее в некоторые тайны своего прошлого, но обо многом умолчал, почти не упоминал об Аполлинии. Зато рассказал о Корвин-Круковской и Елене Павловне Ивановой: он всё беспокоился, что последняя быть может почувствовала себя связанной его предложением. Припадки эпилепсии стали реже, да и нервность его как будто уменьшилась. Она видела его веселым и благодушным, и сама резвилась и хохотала, а он оживал, молодец, дурачился. Иногда он играл роль князя — «молодящегося старичка» — из «Дядюшкина сна» и уверял, что придал этому литературному персонажу свои собственные черты, что несколько раздражало Анну Григорьевну.

Ноябрь и декабрь прошли, как идиллия, и только одно тревожило Анну Григорьевну: как только у Достоевского заводились деньги, у всех его родственников немедленно открывались спешные, неотложные нужды, и авансы и гонорары испарялись в несколько часов. Бывало, он получит 400 рублей из «Русского Вестника», а на другой день на все его расходы останется 30 рублей. Отказывать он не умел, и считать деньги был совершенно неспособен. Однажды в декабрьский вечер он приехал озябший, дрожа от холода, на нем было легкое осеннее пальто, шубу он заложил по совету Паши, Эмилии Федоровны и брата Николая: им всем нужны были деньги, Анна Григорьевна закричала, что он простудится, заболеет, и заплакала от огорчения. Слезы ее совсем его поразили: «Теперь я убедился, — сказал он ей, — как горячо ты меня любишь». Впрочем, он ежедневно получал новые доказательства силы и искренности ее чувств.

Оба хотели обвенчаться как можно скорее, но главным препятствием было отсутствие средств. У Анны Григорьевны были свои две тысячи рублей, заве-

щанные ей отцом, и Достоевский отказывался тратить их на свадьбу, настаивая, чтобы они целиком пошли на покупку вещей для невесты. Он очень любил выбирать для нее платья и обновы, заставляя ее примерять их, и она обо всем с ним советовалась и была уверена, что у него отличный вкус и понимание женских нарядов, хотя она отлично знала, что он плохо различал цвета. Мать Анны Григорьевны купила для дочери шубы, мебель и серебро. Достоевский отправился в Москву для переговоров с Катковым, редактором «Русского Вестника», об авансе на устройство новой жизни. Письма его к невесте в конце декабря 1866 и начале января 1867 года очень нежны, и некоторые выражения в них весьма для него характерны: «тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий, твой весь... ты — мое будущее, всё — и надежда, и вера, и счастье, и блаженство, — всё... целую тысячу раз твою рученьку и губки (о которых вспоминаю очень)... скоро буду тебя обнимать и целовать тебя, твои ручки и ножки (которые ты не позволяешь целовать). И тогда наступит третий период нашей жизни... Люби меня, Аня, бесконечно буду любить».

Наконец, всё было готово: квартира снята, вещи перевезены, платья примерены, и 15 февраля 1867 года, в 8 часов вечера, в присутствии друзей и знакомых, их обвенчали в Троицко-Измайловском соборе. По русскому поверью, кто первый ступит на ковер перед священником во время венчального обряда, тот и будет господствовать в семье. Анна Григорьевна сознательно дала Федору Михайловичу первым ступить на ковер: «я ему всегда покорялась», написала она впоследствии.

В первые дни после брака царила веселая суматоха. Родные и друзья приглашали «молодых» на вечера и обеды, и за всю свою жизнь они не выпили столько шампанского, как за эти две недели. Но медового месяца у них не вышло. Паша, Эмилия Федоровна, брат,

племянники ни на минуту не оставляли их одних, в доме толпились люди до позднего вечера, а потом Достоевский садился за работу. Иной раз по целым дням им не приводилось и получаса посидеть вместе, наедине. Вместо близости, душевных разговоров, общего труда и спокойствия, происходило нечто нелепое и обидное. Анна Григорьевна была окружена интригами и подвохами, новые родные критиковали ее ведение хозяйства, устраивали ей настоящие деловые западни и, открыв, что она болезненно самолюбива и обижается по пустякам, изводили ее насмешками и ядовитыми намеками. Она легко поддавалась на лесть, и из-за этого наделала не мало промахов. Паша и Эмилия Федоровна интриговали, чтобы восстановить Федора Михайловича против молодой жены, и она с ужасом видела, как он слеп и наивен и совсем ее не защищает. Родственники уверили его, что Анне Григорьевне гораздо веселее с молодыми племянниками, чем с ним, и он запирался у себя в кабинете, чтобы не мешать ей, а она в это время плакала в спальней от обиды и бессилия. Она ничем не могла распоряжаться в своем собственном доме, между нею и прислугой всегда стоял Паша, между нею и мужем всегда стояли племянники, вдова брата, гости, свойственники. Ее особенно унижало, что никакого подлинного сближения между нею и Федором Михайловичем после брака не произошло, потому что физические их сношения не давали радости. Из-за суеты и людей их объятия были как-то случайны и отрывочны, всё мешало осуществлению той половой свободы, без которой так трудно соединиться по-настоящему. В самом развитии чувственности произошла какая-то задержка: они не могли физически привыкнуть друг к другу, а некоторые бытовые подробности и вовсе расхолаживали: Достоевский часто по ночам работал в своем кабинете и, устав, ложился на диван и засыпал, а она спала одна на постели, казав-

шейся ей девической. Несмотря на вспышки его физической страсти, в этом браке не было влюбленности, и поэтому он мог повернуться в ту или иную сторону в зависимости от обстоятельств. Но начало оказалось дурным: они плохо понимали друг друга, он думал, что ей с ним скучно, она обижалась, что он как будто избегает ее, в ночных объятиях не ощущалось, что слияние тел — продолжение душевного слияния, как она о том мечтала, — и в то же время, по неопытности, она не была вполне уверена, всё ли обстоит так, как надо или же она права и что-то неладно. Она любила его, и эта формула несколько не хуже других для счастливого брака. Но она вскоре открыла, до чего она была стеснена в проявлениях своей любви. Любить оказалось не так просто, как она предполагала, и для удачи совместной жизни требовались благоприятные условия и спокойная обстановка.

Через месяц после брака Анна Григорьевна пришла в полуистерическое состояние. Как раз в это время, ранней весной, зашли разговоры о том, чтобы снять на лето большую дачу и поселиться там со всеми родственниками. Анна Григорьевна от такой перспективы разразилась слезами и объяснила мужу, что она несчастна и что им необходимо уехать за границу, для спасения их любви.

Достоевский был искренне поражен. Он и сам знал, что семейного счастья, как оно ему грезилось в идиллические недели обручения, никак не выходит, что в доме бестолочь и напряженная атмосфера, что он едва видится с женой и у них нет даже той душевной близости, какая создалась при диктовке «Игрока». Но он просто не отдавал себе отчета, до чего критическим могло стать такое положение: для ясновидца и знатока человеческой души, он в личной жизни часто обнаруживал удивительную слепоту и глухоту. Ни он, ни она не сумели организовать совместного существования, он — по

отсутствию к этому таланта и по привычкам рассеянного, одинокого человека, так погруженного в свой труд и свои мысли, что он не замечает окружающего, она — по неумению и робости, по молодости и детскому тщеславию.

Проект заграничной поездки очень понравился Достоевскому: она давала ему возможность хоть на несколько месяцев отделаться от кредиторов, преследовавших его по пятам, и кроме того, он надеялся, что в Европе у него лучше пойдет работа, да и жизнь там была дешевле, чем в Петербурге. Но для путешествия необходимо было получить новый аванс в «Русском Вестнике», и Достоевский отправился для этой цели в Москву и взял с собой жену. Паша, брат Николай и Эмилия Федоровна с детьми, зная, что он едет за деньгами, не возражали против его отъезда в Москву: о заграничных планах они еще ничего не знали.

В Москве Анну Григорьевну ждали новые испытания: в семье Ивановой, сестры Достоевского, ее приняли враждебно. Вера Михайловна Иванова ведь хотела чтоб брат ее женился на Елене Павловне. Последняя, еще в декабре 1866 г., увидев его, сказала: «Вот видите, как хорошо, что я не дала вам решительного ответа». Это очень обрадовало Достоевского и сняло с него чувство вины, ведь ему всё казалось, что он связал ее своим предложением.

Оппозиция Ивановых, однако, вскоре рассеялась: они думали, что жена Федора Михайловича стриженная и ученая нигилистка в очках, а тут приехала скромная молоденькая женщина, почти девочка, не питавшая никаких агрессивных намерений, всех боявшаяся и явно обожавшая мужа. Ивановы смягчились и приняли в свое лоно новую родственницу.

Вторым мученьем оказалась ревность Достоевского: он устраивал жене сцены по самому пустяшному поводу. Они вернулись от тех же Ивановых, и он тот-

час же стал обвинять ее в том, что она бездушная кокетка и весь вечер любезничала с соседом, терзая этим мужа. Она попробовала оправдываться, но он, забыв, что они в гостинице, закричал во весь голос, лицо его перекошилось, он был страшен, она испугалась, что он убьет или приберет ее, и залилась слезами. Тогда только он опомнился, стал целовать ей руки, сам заплакал и признался в своей чудовищной ревности. После этой ночной сцены она дала себе слово «беречь его от подобных тяжелых впечатлений». Это очень для нее характерно: у нее нет возмущения против его несправедливых, фантастических упреков, она не спорит с ним, и прежде всего думает не о себе, а о нем, о его чувствах и спокойствии.

Ревность его была очень показательна. Он не устривал сцен ревности Марье Дмитриевне или Аполлинарии, хотя оснований для этого было неизмеримо больше. Конечно, он жестоко ревновал их и страдал из-за этого, но ревности своей не выказывал — потому ли, что не осмеливался, потому ли, что знал — всё равно обвинения ни к чему не приведут. Во всяком случае он сдерживался. С Анной Григорьевной он был самым собой без утайки и усилия, без всяких тормозов, и в этом было для него облегчающее ощущение свободы и естественности. Он мог позволить себе поступать так, как чувствовал, — а значит и быть ревнивым, и проявлять ревность с тем неистовством, каким отличались все его эмоциональные взрывы. Но возможно также, что опыт прошлого усилил его подозрительность. Комплекс неполноценности и оскорбленного самолюбия вечно раздирали его, особенно в эротической области, и заставляли сомневаться в любви женщин, с которыми он был связан. Эта неуверенность обращалась в ревность и разражалась дикими вспышками: в них гнездилась подлинная боязнь измены и страданий, мучившая его после опыта Кузнецка, Твери и Парижа. Он постоянно

спрашивал, любят ли его, постоянно добивался и требовал доказательств любви. Даже по отношению к Анне Григорьевне, всецело ему преданной, он испытывал те же чувства: он боялся потерять ее и судорожно вцеплялся в нее, вечно опасаясь, что у него отнимут самое ему дорогое и необходимое. Все эти сложные эмоции переплетались у Достоевского с резким чувством собственника: оно было сильно развито у него в сексуальной сфере и в ряде его бытовых привычек. Анна Григорьевна должна была принадлежать ему безраздельно, душой и телом, как те вещи, которые стояли у него на письменном столе и которые никто не смел трогать и передвигать. И, наконец, он сделался гораздо более ревнив с возрастом: мысль о двадцати пяти годах разницы между ним и Анной Григорьевной всегда вызывала в нем тревогу. И несмотря на все ее уверения, он до смерти остался подвержен ничем не оправданным, безумным припадкам ревности.

Сцены и трудности не скрыли, однако, от супругов одного факта: в Москве их отношения значительно улучшились, потому что они оставались вместе гораздо больше, чем в Петербурге. Сознание это укрепило в Анне Григорьевне желание поехать за границу и провести хотя бы два-три месяца в уединении: то был единственный верный способ успокоиться, отдохнуть от пережитых волнений и привыкнуть к мужу и физически и нравственно. Но когда они вернулись в Петербург и объявили о своем намерении, в семье поднялся шум и возмущение. В два дня выяснилось, что родственникам и наиболее крикливым кредиторам придется оставить до отъезда тысячу сто рублей, а весь аванс, полученный из «Русского Вестника», не превышал тысячи. Паша и Эмилия Федоровна начали отговаривать Достоевского от «безумного плана» и убеждать его, что он не имеет права тратить последние деньги на блажь молодой жены. А когда пошли разговоры о мо-

ральном долге перед семьей покойного брата, он пал духом, заколебался и уже собирался отказаться от заграничной поездки. Проект общей дачи вновь был поставлен на обсуждение на семейных советах. И вот тогда Анна Григорьевна неожиданно показала скрытую силу своего характера и решилась на крайнюю меру. Она инстинктивно знала, что дело идет о спасении их союза, и готова была всем для этого пожертвовать. Мать ее поняла и поддержала, и Анна Григорьевна сделала то, чего ей никогда не могли простить друзья: она заложила всё, на что ушли деньги ее приданого — мебель, серебро, вещи, платья, всё, что она выбирала и покупала с такой радостью и надеждой. Заклад был устроен в два дня, и 14 апреля, к изумлению и негодованию родни, Достоевские выехали за границу. Они собирались провести в Европе три месяца, а вернулись оттуда через четыре с лишком года. Но за эти четыре года они успели позабыть о неудачном начале их совместной жизни: она превратилась теперь в тесное, счастливое и прочное содружество.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Достоевский покинул Россию в очень нервном состоянии. Денег у него оставалось немного, надежды на будущий заработок были смутны, впереди всё расплывалось, как в тумане. Здоровье было очень расшатано. События последних двух лет истощили его физически, а усилие, затраченное на «Преступление и наказание» и «Игрока», исчерпало его творчески. Как многие художники, он испытывал после окончания большой работы пустоту и тоску. Он не знал, что делать с собой, о чем писать, как устроить жизнь, как развязаться с долгами. Он уже ехал по Германии, а всё еще жил недавними интересами петербургской жизни, говорил жене о кредиторах, устройстве племянников, о журналах и издателях.

«Я уезжал со смертью в душе, — признался он через четыре месяца А. Н. Майкову, — один, без материала, с юным созданием, которое с наивной радостью стремилось разделить со мною странническую жизнь; но ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень. Я боялся, что Анна Григорьевна соскучится вдвоем со мной. А ведь мы действительно до сих пор только одни вдвоем. На себя же я не надеялся, характер мой больной и я предполагал, что она со мной измучается. Нота бене: правда, Анна Григорьевна оказалась и сильнее, и глубже, чем я ее знал и рассчитывал, и во многих случаях была просто ангелом-хранителем

моим, но в то же время много детского и двадцатилетнего, что прекрасно и естественно необходимо, но чему я вряд ли имею силы и способность ответить. Всё это мне мерещилось при отъезде, и хотя, повторяю Анна Григорьевна оказалась и сильнее и лучше, чем я думал, но я все-таки и до сих пор не спокоен. Наконец, наши малые средства смущали меня».

Они побыли некоторое время в Берлине, затем, проехав через Германию, обосновались в Дрездене. Здесь-то и началось взаимное сближение, очень скоро рассеявшее все его тревоги и сомнения. Они были совершенно различные люди — по возрасту, темпераменту, интересам, уму, но у них было и много общего, и счастливая комбинация сходства и различия обеспечила успех их брачной жизни.

Анна Григорьевна была за границей в первый раз, и ей всё было интересно. Она путешествовала с восторгом, восхищаясь новыми странами. В этом она никак не походила на своего мужа. За четыре года европейской жизни они посетили Германию, Швейцарию, Австрию и Италию, и Анна Григорьевна была ими очарована, а Достоевский не переставая, ругал всё и вся, да еще вспоминал всякие неприятные вещи о Франции и Англии, где бывал прежде. Едва жена говорила, что ей нравится за границей, как он раздражался гневными обличениями и всё валил в одну кучу: немцы тупы, грубы и самоуверенны, у них нет настоящей культуры, зато дураков и глупцов превеликое множество, французы умны, да подлы и меркантильны, всё их внимание идет на форму и мелочь, у швейцарцев нет бань, нечистоплотны и мошенники, да еще грубы и неотесаны, пейзажи замечательны, но Веве под Женевой хуже Зарайска, двойных рам нет зимою, все мерзнут, от каминов дым и простуда, вообще на хваленном Западе всё хуже, чем в России, и дикая скука, включая знаменитый Париж, от которого тошнит. Только Италию он

как будто признавал за ласковое небо и творения искусства, но и в ней, по его словам, царила одуряющая тоска и скука. Он отмечал великолепие швейцарских гор, хотя они его давили и портили ему настроение, одобрял небо Рима и прозрачность воздуха во Флоренции, высоко ценил Дрезденскую картинную галерею или живопись Ренессанса (к архитектуре он был равнодушен), но все эти его похвалы случайны и немногословны. Он оживляется только, когда надо перечислить то, что ему не нравится. Со дня своего приезда он полемизирует с Европой, и он всё ей ставит в строку — неправильный счет в отеле и сухость протестантизма, сквозняк в вагоне и вырождение католичества в папский империализм. Он умом признавал, что Европа для русских — второе отечество, но эмоционально против Запада боролся — даже признавая, что это земля святых могил. У него нет никакого желания проникнуть в глубь европейской жизни, он за четыре года не завел знакомства и не подружился ни с одним иностранцем, не выказал желания узнать западных писателей и мыслителей. Его резко отрицательное отношение ко всему европейскому было одним из поводов для окончательного разрыва с Тургеневым, убежденным западником, не вынесшим огульного осуждения Достоевским буржуазной и вообще западной культуры. В этой нелюбви к чужим странам сливались разные мотивы. С одной стороны, играли роль его всё более усиливавшиеся славянофильские взгляды: «У нас больше непосредственной и благородной веры в добро, как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте, — писал он в 1868 году из Женевы, — всему миру готовится великое обновление через русскую мысль, которая плотно спаяна с православием... и это совершится в какое-нибудь столетие, — вот моя страстная вера».

Но Достоевского отталкивали от Европы также

некоторые черты его собственного «плебейства» и презрение к материальным ценностям. Он не любил богатства и пристрастия к внешним формам жизни и поведения, и внутренне съезживался от красноречия, эстетизма, жеста и показных достижений Запада. И он испытывал неприязнь к европейскому общественному движению и искусству, потому что они были чересчур основаны на логике и разуме — а он не доверял этим утлым сосудам человеческого знания. В его анти-европеизме была также значительная доля провинциализма — он часто попадал в положение «бедного родственника», и уколы личного самолюбия сливались с чувством оскорбленной национальной гордости.

Анна Григорьевна во все эти тонкости не входила, ее всё на Западе занимало, она вела себя усердной туристкой, ходила по музеям, осматривала достопримечательности, делала заметки, и Достоевского забавляло и радовало это школьное прилежание: ей всё интересно, значит не будет скучать, покамест он работает или пишет длиннейшие письма друзьям в Россию о новых литературных планах. И только прятал в усы снисходительную улыбку старшего, когда она углублялась в путеводители и каталоги: чем бы дитя не тешилось!..

«В характере Анны Григорьевны, — пишет он Майкову, — оказалось решительное антикварство и это для меня мило и забавно. Для нее, например, целое занятие пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать ее».

Вообще, его умиляло, что она такая простая и непретенциозная. У Анны Григорьевны были привычки мелко буржуазной, почти мещанской среды, хотя по паспорту она и принадлежала к дворянству, — и это создавало между ними общность социального уровня. Она была скромной и тихой девушкой, и в детстве и юности не знала шумных развлечений. Событий в ее

семье почти не происходило, и она была невзыскательна, мало видела, мало где бывала. Когда, по окончании «Игрока», Федор Михайлович захотел отпраздновать это событие обедом в ресторане вместе с Майковым, Милюковым, Страховым и пригласил свою стенографистку, она не решилась пойти: никогда в жизни не была в ресторане и стеснялась показаться в таком месте, да еще с незнакомыми людьми. Ее образ жизни и образ мыслей, манеры и навыки, одежда и вкусы — всё выдавало в ней девушку из небогатой чиновничьей семьи с петербургской окраины. В ней было немало провинциализма, и Достоевскому это очень нравилось. О том, что в нем самом была мещанская складка, отлично знали его близкие — хотя особенность эта и поражала тех, кто впервые с ним встречался и рисовали себе его каким-то сверх-человеком. Умная и наблюдательная Е. Штакеншнейдер, горячая поклонница Достоевского (он часто бывал в ее доме в конце своей жизни), писала:

«Многие, со страхом подходя к нему, не видят, как много в нем мещанского. Не пошлого, нет, пошлым он никогда не бывает, и пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин! Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, в роде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин — глубочайший мыслитель и гениальный писатель».

Он был им по всем своим бытовым склонностям и привычкам, по любви к известному распорядку ежедневного существования, по самым своим недостаткам, на которые он сам и жаловался: «Я не имею жеста и формы». Причины лежали, конечно, в воспитании, обстановке его детства и всех обстоятельствах последующей жизни, а также в его постоянной финансовой зависимости от других. В манерах и словах людей, привыкших с ранних лет свободно распоряжаться деньгами и легко их тратить, неизменно ощущается бессозна-

тельная самоуверенность. Даже если они по характеру и не властны и не агрессивны, они твердо ступают по земле, и на этом в значительной мере основаны и их вежливость, и их барство. У Достоевского, этого чернорабочего от литературы, вечно обремененного долгами, занимавшего направо и налево по пятьдесят рублей, не зная, что принесет завтрашний день, и заранее обреченного на просьбы и унижения, не было ни барства, ни легкости, ни самоуверенности, а его идеал «хорошей» и «богатой жизни» не шел дальше мещанской обеспеченности: квартира в четыре комнаты (в те времена для интеллигентов это было очень скромно), довольно безобразная мебель с Гостиного Двора в рассрочку, диван-тахта, покрытый ковровым одеялом в кабинете, и вазочки и две олеографии в гостиной. Достоевский страдал от своего дурного вкуса, от своей неловкости в обществе, от своей обидчивости и мелкого самолюбия. Он завидовал «хозяевам жизни», как Тургенев или Григорович, и не любил их именно за барство, за светскость, за хорошо повязанный галстук, за отшлифованную речь, за свободу, с которой они могли расходовать тысячи и писать, о чем и как вздумается. Его многочисленные ссоры с современниками частично объясняются его плебейскими замашками, его ущемленным самолюбием просителя и бедняка. Всё доставалось ему с трудом: даже гонорар, следуемый из журналов, приходилось не только спрашивать, но и выпрашивать, почти вымалывать, и делал он это в захлебывающемся, «хамском» стиле Мармеладовых и Лебедевых: письма его на эту тему до сих пор неприятно читать.

В конце своей жизни Достоевский виделся и с великими князьями, и с вельможами, но и во дворце и в аристократических салонах чувствовал себя неуютно и держался, как медведь. Он искренне ненавидел приемы, банкеты, выходы в свет: больше всего он любил сидеть

в жарко натопленной комнате, пить чай с вареньем и читать жене вслух какой-нибудь исторический роман.

Марья Димитриевна мечтала о гостях, роли в обществе и званых обедах, и даже с ней Достоевский не чувствовал себя в безопасности и оставался на положении мужа, не давшего жене того, что она заслуживала. Аполлинария тоже хотела блистать и бывать. Не то получилось с Анной Григорьевной. У нее не замечалось никаких стремлений вести светскую жизнь, она отнюдь не желала «вращаться» в обществе, у нее от этого вращения голова кружилась, и делалось тошно, как и Достоевскому. В этом они удивительно подходили друг к другу. С нею ему нечего было тревожиться: она искала, как и он, мещанского счастья, и туфли и халат мужа принимала не как умаление его достоинства, а нечто вполне естественное — другого и быть не могло. И она вполне разделяла его маленькие радости: воскресная прогулка и пирог к обеду, вечером самовар у круглого стола, неугасимая лампада перед киотом в спальней, зимой ему — волчья шуба, ей — ротонда на лисьем меху.

Анна Григорьевна была застенчива и только наедине с мужем делалась бойкой и проявляла то, что он называл ее «скоропалительностью». Он это понимал и ценил: сам был робок, смущался с чужими людьми и тоже не испытывал никакого стеснения только наедине с женой, — не то, что с Панаевой, Марьей Димитриевой или Аполлинарией. Ее молодость, неопытность и мещанская складка действовали на него успокоительно, обнадеживали и рассеивали его комплексы неполноценности и самоунижения. Он был подвержен настоящим припадкам меланхолии, и после вспышек честолюбия и гордости, когда он кричал, что только будущие поколения оценят его романы, у него наступали мучительные периоды депрессии и неверия. Тогда он буквально ненавидел себя. Он со злобой смотрел на свои

руки с выступавшими на них венами и желтыми пятнышками, на грудь, поросшую волосами, на тело, доставлявшее столько неприятностей болями, недугами, желаниями, всей своей особой, самостоятельной жизнью, так мешавшей уму и духовности. И оно было обречено на разложение в могильной тьме, на то, чтобы стать пищей червей, а вечность представлялась, как душная тесная баня с пауками. Он задыхался от ужаса, от сознания собственного ничтожества, от страха смерти. Мало кто знал, как нуждался он в эти минуты в ласковом слове, в тепле женской руки; присутствие молодого любящего существа рассеивало все кошмары. А похвала или намек на одобрение помогали ему воспрянуть духом и побороть угрюмость и пессимизм. Судьба чересчур часто и больно била его, в своей мнительности он всегда ожидал неудачи и неприятностей. А Анна Григорьевна в него искренне верила, и это с первого дня их знакомства было написано на ее лице и выражалось во всех ее речах и поступках: она смотрела на него снизу вверх и даже если и не соглашалась со всеми его суждениями, безусловно признавала их важность и ценность. Ей и в голову не могло придти сомнение в его превосходстве. Она могла поссориться с ним, потому что не соглашалась с его оценками, так, например, он обвинял женщин в отсутствии выдержки в достижении раз поставленной цели, а Анна Григорьевна, в доказательство его неправоты, решила собирать коллекцию марок и выполнила свое намерение в течение ряда лет. Он ругал молодежь за неряшливость и напускную грубость, а она считала себя шестидесятницей и горячо защищала своих современников. Они ссорились и по пустякам и, поругавшись, решали друг с другом не разговаривать, но долго не выдерживали и мирились. Он кипел и выкипал быстро, бури его проходили без следа и он забывал о них. Она тоже обижалась и прощала с легкостью. Когда

они приехали в Берлин, он вдруг раскритиковал ее наряд, сказал, что она не по сезону одета и перчатки у нее дурные, она очень обиделась, на улице ушла от него, а потом испугалась, что из-за этого произойдет катастрофа — но, встретившись с ним позже, увидела, что он уже забыл обо всей размолвке. Бывали дни, когда он в раздражительности бранил ее и даже кричал в сердцах: отчего посмотрела на проходившего молодого человека, зацепила зонтиком немца в ресторане, вот неуклюжая, не то сказала кельнеру, отчего не подумала купить масло к чаю! Она всё это сносила и в Дрездене решила не подавать виду, что ей больно, и иногда плакала тихонько, в одиночку. Супружеские трения она принимала, как неизбежное зло. Она вообще всё в нем принимала безропотно, и этот ее несколько наивный и простой подход обезоруживал и умилял Достоевского: к концу их пребывания за границей они уже ссорились гораздо реже, и ему с Анной Григорьевной стало легко и свободно. Она ему «покорялась», признавая его безграничный авторитет решительно во всём, включая выбор нарядов и шляпок, что ему особенно нравилось, но это не было слепое подчинение. Она вовсе не была тряпкой или ничтожеством. У нее имелась совершенно определенная, с годами развившаяся индивидуальность, у нее был твердый и самостоятельный характер и решительность — несмотря на мягкость, податливость и некоторую наивность. Много лет спустя, после его смерти, объясняя самой себе секрет успеха их брачной жизни, она правильно заметила, что дружба часто основана на противоречиях, а не на сходстве, и привела себя в пример: она и Достоевский были людьми разной конструкции и душевного строя, но она не впутывалась в его психологию, не вмешивалась в его внутреннюю жизнь, она не желала «влиять и исправлять», — обычная ошибка женщин с их мужьями и любовниками,

— и это «невмешательство» внушало ему доверие к ней, усиливало его чувство свободы. И в то же время он знал, что она — его друг, на нее можно было всегда во всем положиться, она не выдаст, не обманет, не продаст, не уколует, не насмеется исподтишка. На этом двойном фундаменте невмешательства и свободного доверия и укрепилось их семейное счастье. После истерик Марьи Дмитриевны и повелительных поз Аполлинарии, Достоевский с восторгом приветствовал «нейтралитет» Анны Григорьевны: она, по крайней мере, не стремилась ни указывать, ни верховодить, ни играть. Когда они поженились, она была молоденькой, не слишком развитой, средней девушкой, ничем не замечательной, но обладавшей живым умом и безошибочным чутьем по отношению к Достоевскому. В течение четырнадцати лет совместной жизни, и ум и развитие ее, и чутье, и знание мужа, конечно, необычайно усилились. Она преклонялась перед Достоевским, как перед писателем, но в первый год брака еще не знала размеров его гения, а брала то, что всякому было ясно: известный романист, большой, может быть великий — и только впоследствии правильно его угадала — тогда, когда современники еще колебались (ведь полное признание он получил и в России, и на Западе после смерти). Этот рост ее понимания и уважения очень радовал Достоевского: он всё время рос в ее глазах. Обыкновенно, в браке близко узнают недостатки друг друга, и поэтому возникает легкое разочарование. У Достоевских, наоборот, от близости раскрылись лучшие стороны их натуры, и Анна Григорьевна, полюбившая и вышедшая замуж за автора «Игрока», увидела, что он совершенно необыкновенный, гениальный, страшный, трудный, а он, женившийся на усердной секретарше, открыл, что не только он «покровитель и защитник юного существа», но она его «ангел хранитель», и друг, и опора.

Анна Григорьевна горячо любила Достоевского как мужчину и человека, любила смешанной любовью жены и любовницы, матери и дочери. Это соединение чувственного и дочернего и материнского сильно его захватывало: Анна Григорьевна была такой же хорошей и преданной подругой, как и Нечаева, жена доктора Достоевского, их брак повторял отцовскую любовь, и в то же время она была так молода и неопытна, что казалась дочерью. Так она была для него матерью и повторением детства, но он любил ее по-отцовски, словно собственную дочь, и как девочку, молоденькую, невинную, и смешение всех этих элементов придавало его объятиям язвительность греха. Характерны некоторые признания Анны Григорьевны из ее Дневника, относящиеся к Дрезденскому периоду: «он читал, а я лежала у него за спиной (мое любимое место, как теперь, так и в детстве за спиной у папы)». Ее чувство к нему было одновременно и как к отцу, и как к ребенку, и как к любовнику; такая женская привязанность — самая крепкая. Впоследствии к ней присоединилось сознание, что он — отец ее детей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В апреле 1867 Достоевские устроились в Дрездене, и уже через две недели Анна Григорьевна забыла всё грустное начало их брачной жизни и почувствовала себя счастливой. Федор Михайлович сказал ей, что хоть он и любил ее, женись на ней, но еще очень мало знал: «Теперь, — записывала она непонятными для него стенографическими знаками, — он вчетверо больше меня ценит, понимая, какая я простая... он говорит мне, что я покоряю его своей добротой и безропотностью». У нее, действительно, было много доброты и смирения. Ее детскость тоже умиляла его. Она сломала три зубчика в его гребенке и заплакала, что испортила хорошую вещь, а он ею дорожит. Скучала по своей маме, вспомнив Петербург, утерла слезу, и он к ней подсел, утешал ее, обнимал и целовал, как малое дитя.

Он всё больше привыкал к ней, находя прелесть в неторопливом, чуть монотонном ритме их совместной жизни. Они вставали поздно, после утреннего завтрака гуляли, он ходил размеренным, нескорым шагом, оставшимся с военной службы, потом слушали музыку в городском саду. Шла весна, всё расцветало, распевали птицы, рюмка вина в «Итальянской Деревне», где они обедали, почти опьяняла Анну Григорьевну, и она смеялась заразительным смехом, Достоевский вторил ей, потом принимал серьезный вид, и они шли в сад-тир; он хорошо стрелял в цель и любил это развлечение. Вечером они читали, каждый в своем углу, писали

письма, пили чай со сладкой булкой, Достоевский иногда садился за работу. Она ложилась спать рано, почти всегда одна, он приходил потом будить ее, чтоб поцеловать и перекрестить на ночь, и очень часто уже не уходил к себе, оставался с ней до утра.

Выходя за него замуж, Анна Григорьевна вряд ли отдавала себе отчет в том, что ее ждало, и только после брака поняла трудность вставших перед ней вопросов. Тут были и его ревность и подозрительность, и его страсть к игре, и его болезни, и его особенности и странности. И прежде всего проблема физических отношений. Как и во всём остальном, их взаимное приспособление пришло не сразу, а в результате длительного, иногда мучительного процесса. Вначале у него не было страстного желания, и он обращался с нею с некоторой осторожностью и сдержанностью. Вероятно, по этой причине он не давал ей читать фривольных французских романов, не любил, чтоб она рассказывала нескромные анекдоты, и осуждал перед ней оперетку, как никому не нужный пустячок — и она из-за всего этого считала его целомудренным. В физическом отношении была она неопытна и наивна, и принимала его сексуальность целиком, ничему не удивляясь и даже ничего не пугаясь. Она патологическое готова была счесть за нормальное, по своей наивности верила, что так и надо, и естественно и спокойно отвечала на то, что другой женщине, более опытной или инстинктивно более понятливой, показалось бы странным или оскорбительным, а может быть даже и чудовищным. Много лет спустя, за год до смерти, когда ему было почти 60 лет, а ей едва 35, он писал ей из Эмса:

«Ты пишешь — «люби меня!», да я ль тебя не люблю? Мне только высказываться словами претит, а многое ты и сама могла бы видеть, да жаль, что не умеешь видеть. Уж один мой постоянный (мало того: всё бо-

лее, с каждым годом возрастающий) супружеский мой восторг к тебе, мог тебе на многое указать, но ты или не хочешь понять этого, или, по неопытности своей, этого и совсем не понимаешь. Да укажи ты мне на другой какой хочешь брак, где бы это явление было в такой же силе, как и в нашем, двенадцатилетнем уже браке. А восторг и восхищение мои неиссякаемы. Ты скажешь, что это только одна сторона и самая грубая. Нет, не грубая, да от нее, в сущности, всё остальное зависит. Но вот этого-то ты и не хочешь понять. Чтоб закончить эту тираду, свидетельствую, что жажду расцеловать каждый пальчик на ножке вашей, и достигну цели, увидишь. Пишешь: ну, а если кто читает наши письма? Конечно, но ведь и пусть: пусть завидуют».

Стыдливость заставляла ее, к глубокому сожалению биографов, вычеркивать слишком вольные слова и фразы в его письмах, сохраненных ею для потомства, — но это оттого, что она считала неприличным других посвящать в тайны спальни: в самой же спальне всё было разрешено. Недаром Достоевский говорил о своем «возраставшем» супружеском восторге. Он с опаской вводил ее в мир сладострастия: он-то хорошо знал и свои садистские и мазохистские склонности, и свое неистовство, когда ему «позволяли» целовать ножки. Некоторые моменты физического соединения были для него, вероятно, так же ослепительны, полны такого же, почти невыносимого напряжения, как и моменты перед эпилептическим припадком — и чисто физическое наслаждение полового акта и его вершины давало ему ощущение прорыва в вечность: слияние с любимой женщиной в согласном ритме тайной плоти приближало его к Богу, рождало мистическое ощущение самоутверждения и самозабвения. Всё буйство тела и чувственности разрешалось в мгновенном прикосновении к последней правде: вселенная вливалась в него, он растворялся во вселенной, в соединении тел было

воссоздание нарушенного единства. Из двух — один, едина плоть — в этом было преодоление разлада, предчувствие мировой гармонии.

Вся эта, религиозно-мистическая сторона половой жизни Достоевского была совершенно чужда и непонятна Анне Григорьевне: она была очень здешняя, земная. Если и было в ней что-то «потустороннее», то совсем бессознательно и инстинктивно, как у многих простых натур, сохраняющих некое подобие шестого чувства, — отголосок предистории, воспоминание о той первозданной заре, когда люди были точно звери. Такова была в ней способность предсказания. Она говорила, что это от матери — дар северных женщин-проходиц. Но и здесь было ей далеко от Достоевского с его предчувствиями, символами и вещими снами: он уверял ее, что всегда знает, если быть беде — видит во сне отца, или — еще того хуже — покойного брата.

Она могла не до конца понимать «половой восторг» Достоевского и даже немного пугаться прострации, похожей на смертную неподвижность, охватывавшую его после акта любви, но она не видела ничего ужасного в бурных проявлениях его страсти, и отвечала ему естественно и пылко, потому что у нее был здоровый темперамент молодой и любящей женщины. И именно этот ответ ее тела, ее простота и желание понравиться ему ночью так же, как и днем, и оказались для Достоевского неоценимой находкой. Он мог делать с ней, что хотел, он мог воспитать из нее подругу для всех своих эротических фантазий, и поэтому с ней не было стыдно, несмотря на все внешние признаки ее стыдливости.

С другими он стеснялся, с ней всё было позволено, и он скоро перестал себя сдерживать или пытаться сдерживать. С ней можно было играть как с женой, как с любовницей, как с ребенком. Это была всё более расширявшаяся сексуальная свобода, и не «умствен-

ная» и завоеванная, как у Аполлинарии, отлично знавшей, что такое разврат, и не циничская, покупная, как у Марфы Браун, а добровольная, то есть самая полная и настоящая. Анна Григорьевна ему эту свободу предоставляла, по его собственному выражению, «позволяла» ему очень многое, — и не только потому, что ей его «шутки» нравились, но потому что в большой любви своей она от него готова была всё вытерпеть, всё покорно снести. О том, что это далеко не всегда было легко и приятно, знали только очень близкие люди. В 1879 году, на тринадцатом году брака Достоевского, его большой друг А. Майков пишет своей жене:

«Что же это такое, наконец, что тебе говорит Анна Григорьевна, что ты писать не хочешь? Что муж ее мучителен, в этом нет сомнения, невозможностью своего характера, это не новое, грубым проявлением любви, ревности, всяческих требований, смотря по минутной фантазии. Что же так могло поразить тебя и потрясти?».

Очевидно речь шла о таких формах или извращениях любви, таких необычностях и странностях (о них Анна Григорьевна могла, при ее наивной неопытности, заговорить или даже пожаловаться, плохо разбираясь в их исключительном, болезненном характере), что жена Майкова не решилась письменно поведать о них мужу.

Достоевский был с ней счастлив, потому что она дала естественный выход всем его склонностям и тем самым фантазиям, о которых упоминает Майков. Ее роль была освободительная и очистительная. Она сняла поэтому с него бремя вины: он перестал чувствовать себя грешником или развратником.

Толстой говорил, что нет физического разврата там, где женщину не делают одним только объектом наслаждения. Достоевский Анну Григорьевну любил,

и у него половое наслаждение было тем острее, чем больше оно соединялось с другими эмоциями — эротического или идеалистического порядка. Когда эти идеалистические, высшие эмоции входили в конфликт с половыми желаниями и тормозили их, у Достоевского появлялось то раздвоение, которое он так часто испытывал и в молодости и в зрелости и которое привело его к разделению физического и сентиментального начала в любви. Теперь обе половины слились, единство оказалось достигнутым, усиление дружбы, нежности, привязанности автоматически повышало желание. В этом отношении, брак впервые дал Достоевскому какую-то нормализацию его сексуальной жизни. Не надо забывать, что вряд ли можно говорить об Анне Григорьевне, как о типе женщины, какая именно и была нужна Достоевскому. Теория «типов» в половом подборе вообще не применима к Достоевскому: совершенно очевидно, что его привлекал не один и тот же тип женщины, что он испытал страстное эротическое притяжение к таким женщинам, как Марья Димитриевна или Аполлинурия, совсем непохожим на Анну Григорьевну ни внешне, ни внутренне. История и его первой, и второй, и третьей любви показывает, что основных типов женщины в его жизни было три, а может быть и больше. И Анна Григорьевна «победила» его, когда выработалась привычка и когда он убедился, что ей можно верить, что она — «своя», и что всё, чего он опасался, или стыдился или боялся, — узаконено и оправдано их отношениями. Этот вывод пришел в результате длительного сожительства. Брак их развивался физически и морально. Процесс этот был облегчен тем, что они на очень долгий срок оказались вместе и наедине. В сущности их поездка за границу и была их свадебным путешествием: но длилось оно четыре года. И к тому моменту, когда у Анны Григорьевны стали рождаться дети — взаимное душевное и поло-

вое приспособление супругов было закончено, и они смело могли сказать, что брак их счастливый.

Впрочем, в 1867 году, в Дрездене, Анна Григорьевна не вполне была в этом уверена. В их идиллию слишком часто врывались раскаты бури — она очень их пугалась. Она, например, знала, что Достоевский был близок с Суловой, хотя и не упомянула о ней ни единым словом в своих «Воспоминаниях». Но ей, вероятно, было неизвестно, что, едва устроившись в Дрездене, Достоевский сел писать Аполлинии в ответ на ее письмо, полученное от нее еще в Петербурге, накануне отъезда. Он мог повторить слова поэта: «О память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной». Он подробно рассказал ей о своем браке, хотя и знал, что она, по всей вероятности, была о нем осведомлена из других источников:

«Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно. «Игрок» был кончен в 24 дня. При конце работы я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти, и вот мы обвенчаны. Разница в годах ужасная (20 и 44), но я всё более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть и любить она умеет».

После этого «приглушенного» рассказа, намеренно опускающего весь романтический и эмоциональный элемент и даже допускающего одну фактическую ошибку (ему было 46, а не 44), он подробно посвящал ее в свое финансовое положение и литературные планы, а заканчивал следующим обращением: «Твое письмо оставило во мне грустное впечатление. Ты пи-

шешь, что тебе очень грустно. Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоём сердце, но, судя по всему, что об тебе знаю, тебе трудно быть счастливой.

О, милая, я не к дешёвому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками. Я сужу по фактам. Вывод составь сама. До свиданья, друг вечный! Прощай, друг мой, жму и целую твою руку».

Он послал это письмо 23 апреля, а через четыре дня Анна Григорьевна записывала в своём конфиденциальном дневнике:

«Я вернулась домой, чтобы прочитать письмо, которое нашла в письменном столе Феди. Конечно, дело дурное читать мужнины письма, но что же делать, я не могла поступить иначе! Это письмо было от С. Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала, и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет». А через несколько дней пришло новое письмо от Аполлинаруи, ответ на извещение Достоевского об его браке. Он в это время играл в Гомбурге, Анна Григорьевна достала тонкий нож и осторожно распечатала письмо ненавистной соперницы. Оно показалось ей глупым и грубым, но у нее по всему лицу пошли пятна от волнения. Аполлинаруя была, очевидно, раздосадована женитьбой Федора Михайловича, и тон ее ответа был весьма иронический, в своём пренебрежении она нарочно коверкала фамилию Анны Григорьевны. Последняя так обиделась, что решила написать ей и запросила знакомых в Петербурге об адресе Сусловой. Но намерение свое она отложила, увидав реакцию мужа на

это злополучное письмо его бывшей возлюбленной. Когда он вернулся из Гомбурга, она с невинным видом подала ему вновь заклеенный конверт:

«Он долго, долго перечитывал первую страницу, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка, племянница Федора Михайловича. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была или улыбка презрения, или жалости, право, не знаю, но какая то жалкая, потерянная улыбка. Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимая, о чем я говорю».

Больше писем Достоевскому Аполлиария как будто не писала, и тревоги Анны Григорьевны по этому поводу улеглись. Вскоре она пришла к заключению, что окончательно вытеснила «подругу вечную» из сердца мужа. Гораздо труднее сказалась ее борьба с другой его страстью. Она знала, что он — игрок, но не предполагала, что власть над ним рулетки так всемогуща. Она склонна была рассматривать ее, как прихоть или мужское развлечение, столь же для нее непонятное, как, например, охота или фехтование (Достоевский терпеть не мог ни того, ни другого спорта). Поэтому, когда он принялся убеждать ее, что выигрыш в рулетку, быть может, единственная их надежда на выход из стесненного материального положения, она согласилась, чтобы он отправился один в бад Гомбург, где имелось игорное казино.

В Гомбурге произошла обычная история — но для Анны Григорьевны она была боевым крещением. Достоевский сперва немного выиграл, потом всё потерял, до последнего талера, и написал жене, что возвращается в Дрезден, но не хватает денег на расплату в отеле и обратный билет. Анна Григорьевна покорно собрала все имевшиеся в доме деньги и послала их в Гомбург.

Получив ее перевод, он тотчас же бросился в казино и опять всё проиграл. На другой день, вместо мужа, Анна Григорьевна с изумлением получила слезное письмо: «Аня, ангел мой, единственное мое счастье и радость, простишь ли ты меня за всё и все мучения и волнения, которые я заставил тебя испытать? О, как ты мне нужна!.. Будешь ли ты меня теперь уважать? Ведь этим весь брак наш поколебался... Часы считаю, Прости меня, ангел мой, прости, сердце мое».

А через несколько часов, в догонку, полетело новое письмо:

«Обнимаю тебя, сокровище, крепко, целую бесчисленно, люби меня, будь женой, прости, не помни зла, ведь нам всю жизнь прожить вместе».

Анна Григорьевна заложила вещи и снова отправила деньги, умоляя его приехать. А он продолжал посылать письма одержимого: «Я украл твои деньги, я недостойный человек, я не смею тебе писать».

Анна Григорьевна плакала, когда он уезжал, зарыдала и когда он приехал, обросший, похудевший, но не упрекала его, не устраивала ему сцен — и в этом обнаружила инстинктивную мудрость: он не только умилился до слез ее доброте и еще острее почувствовал свою вину, но, как это часто бывает с виноватыми мужьями, всячески старался показать ей свою любовь. В мае Анна Григорьевна была беременна. А брак их не только не поколебался, но наоборот, укрепился: скрывать ему больше было нечего, она теперь знала и последний секрет, темную его страсть, и своей добротой и пониманием сняла с него тяжесть стыда, освободила от комплекса вины. Он был ей благодарен за это не меньше, чем за половую покорность. Никаких преград между ними более не существовало, ей можно было довериться до конца, ничего не скрывая, ничего не опасаясь. И он вздохнул с облегчением и принялся доказывать, что проигрыш в Гомбурге был

вызван, главным образом, его одиночеством и волнением. Он за нее беспокоился, вообще, путал из-за спешки и взятой на себя ответственности. А вот если бы удалось вместе пожить там, где есть рулетка, играть, не торопясь, не зарываясь, по системе... Поверила ли она ему или только сделала вид, что верит, но она согласилась на его уговоры, и в июне они отправились в Баден-Баден, место его последней встречи с Аполлинарией. Он о многом должен был вспомнить, гуляя с Анной Григорьевной по знакомым улицам и аллеям парка.

В Бадене они пробыли пять недель, и она называла их кошмарными. Она оставалась целыми днями одна и страдала от всего: от безумия Федора Михайловича, метавшегося от казино к отелю и обратно в каком-то трансе азарта, от неуверенности в том, хватит ли завтра денег на обед, от того, что она бедна и не элегантна и гуляет в своем черном нехорошем платье среди дам в блестящих туалетах. Ей казалось, что неминуемо произойдет какая-то катастрофа, и это ощущение нависшей беды не оставляло ее до отъезда.

Достоевский горячо верил, что обладает системой, по которой можно выиграть и «повернуть колесо фортуны». Быть может, он и добился бы каких-либо скромных результатов, если бы применял свой метод хладнокровно и с расчетом, но он для этого был чересчур нетерпелив, он немедленно увлекался, терял голову, и, как всегда, доходил до крайних пределов.

Через неделю после приезда все наличные деньги были проиграны и начался заклад вещей: каждый день он бегал к ростовщикам, носил им часы, брошку с рубинами и бриллиантами — свадебный его подарок Анне Григорьевне, — женины серьги; потом пошли носильные вещи, пальто, костюм, шаль. Однажды он выиграл четыре тысячи талеров, целое состояние, решил быть благоразумным, дал их жене, но каждый час являлся

за новым «пополнением кассы» и убегал в казино. К вечеру от всего выигрыша ничего не осталось. Они переехали из гостиницы в жалкую комнату над кузницей и жили там под аккомпанимент молота и свист горна. Вскоре они очутились в таком же положении, в каком он был два года тому назад, после отъезда Аполлинарии, и снова повторились письма — мольбы о помощи, приход долгожданного перевода, новый выигрыш, отчаяние, попытки выкарабкаться из ямы. Сперва ее удивляло, что человек, с таким мужеством перенесший в своей жизни столько несчастий и страданий, не имел силы воли, чтоб сдержатъ себя, и рисковал последним талером. В этом она видела что-то унижительное и недостойное.

«Но скоро я поняла, — пишет Анна Григорьевна, — что это не простая слабость воли, а всепоглощающая человека страсть, нечто стихийное, против чего даже твердый характер бороться не может».

Она, конечно, не могла выразить словами, что страсть эта у ее мужа становилась чуть ли не метафизической. В игре большинство людей находит выход своим тревогам и беспокойствам, сексуального или иного порядка, и азарт может привлекать, как замена разряда и освобождения. Психологик безусловно откроет в игорном безумии Достоевского скрытую компенсацию его половых комплексов и неудовлетворенности. Но рулетка пленяла его, как выход в иррациональное, как соприкосновение с миром случайности; удача и неудача у колеса рулетки не подчинялась законам логики, они были сродни тому непознаваемому темному началу мира, где не было ни морали, ни ограниченного пространства Эвклидовой геометрии. И в игре была безграничная возможность исправить несправедливость рождения, бедности, состояния и обстоятельств великолепным ударом счастья, вызовом судьбе. И разве весь процесс игры не был вызовом си-

лам неизбежности, гнетущим человека, прорывом в пленительное беззаконие произвольного действия и свободного случая?

Анна Григорьевна кое-что из этого смутно чувствовала и, назвав «это» болезнью, приняла как крест все ее осложнения и последствия, даже не пробуя вылечить его:

«Я никогда не упрекала мужа за проигрыш, никогда не ссорилась с ним по этому поводу (муж очень ценил это свойство моего характера) и без ропота отдавала ему наши последние деньги».

Ей только было до слез жаль серег и брошки, их не удалось выкупить, они так и погибли у ростовщика, но она о них горевала втайне, чтоб Федор Михайлович не заметил. Немного женщин было бы способно на такое самопожертвование, и немного женщин могло бы удержаться от напрасных попыток остановить страсть аргументами разума и логики, то есть «черпать воду решетом».

Он, конечно, замечал ее страдания и казнил в душе, и еще больше любил ее за кротость, делал смешные вещи, чтоб доказать ей свою нежность: приносил толченого сахара для любимого ею лимонада, выиграв два талера, покупал ей цветы или устраивал неожиданно чай с пирожными — и она от этого была гораздо более счастлива, чем если бы он благоразумно и расчетливо отложил эти же деньги на обед или квартирную плату: тут она забывала о своем мещанстве не менее основательно, чем Федор Михайлович — хотя ей было чуждо мотовство Достоевского и она умела считать каждую копейку. Но в некоторых случаях она ему не перечила и не упрекала за расточительство: она была убеждена до конца дней, что он — милый, простой и наивный человек, и что с ним часто следует обращаться, как с ребенком. Он в этом видел только про-

явление настоящей любви — и, пожалуй, был прав. Ее матери он пишет из Баден-Бадена:

«Аня меня любит, а я никогда в жизни еще не был так счастлив, как с нею. Она кротка, добра, умна, верит в меня, и до того заставила меня привязаться к себе любовью, что кажется я бы теперь без нее умер».

Даже в самые мрачные баденские вечера она рассеивала его хандру своими шутками и смехом: ведь несмотря на все невзгоды, ей было только двадцать с лишним лет, и она не могла удержать кипения и веселья молодости. Но с какой радостью оставила она злополучный Баден-Баден! Они ехали в Женеву через Базель — и там она опять убедилась, как широка и противоречива натура Достоевского. Еще вчера он ничем не интересовался, кроме красного и черного, чета и нечета — а сейчас, в Базельской пинакотеке застыл перед картиной Ганса Голбейна, изображавшей снятие со креста: Христос в ней, уже предавшийся тлению, вид его окровавленного, израненного тела ужасен. Анна Григорьевна ушла, чтоб не мешать Достоевскому, вернулась через двадцать минут — он всё еще стоял, как прикованный, лицо его было такое взволнованное и перекошенное, что она испугалась — сейчас припадок. Но, верная своему «невмешательству», отошла в сторону, стушеввалась, и ждала, не беспокоя его, не говоря ни слова, ничем не выдавая своего присутствия.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В Женеве она заметила, что он стал менее раздражительным, хотя часто ворчал: мрачный город со скверным климатом, протестанты, а пьяниц бездна, и верх скуки. Жили на то, что высылала мать Анны Григорьевны, и постоянно закладывали вещи к концу месяца. Кроме Огарева, к ним никто не приходил, они у него иногда перехватывали десять франков до ближайшей полочки. Одиночество не смущало Анны Григорьевны, она говорила, что «ужасно счастлива». Он писал Майкову: «Очень, очень радовало меня, что Анна Григорьевна решительно не скучала, хотя я и не очень веселый человек для житья в продолжении шести месяцев сам друг вдвоем, без друзей и знакомых». Он всё боялся, как бы она не соскучилась «на необитаемом острове» и жалел, что нет денег для поездки в Париж. Некоторые биографы вообразили, будто он не повез ее туда, потому что был там с Аполлинарией: но ведь он ездил с Анной Григорьевной не только в Баден-Баден, но и в Берлин, и в Италию — т. е. туда, где жил с Аполлинарией.

В конце 67 и начале 68 года они вели в Женеве очень скромный и регулярный образ жизни. Достоевский обожал одинаковость в расписании дня. Вставали, как в Дрездене, часам к одиннадцати, Анна Григорьевна потом гуляла, что-нибудь осматривала, а он работал, сходились к трем в ресторане на обед, потом она шла отдыхать, а он просиживал часами в кафе дю Мон

Блан за чтением русских и иностранных газет. В семь часов они обыкновенно совершали общую прогулку по набережным и главным улицам Женевы, останавливаясь у освещенных газом и плашками витрин магазинов и выбирали те вещи, которые он бы подарил ей, если бы был богат. Эти воображаемые покупки очень их тешили. Придя домой, он растапливал камин, они пили чай, вечерами он или диктовал ей написанное предыдущей ночью или читал. Он любил Диккенса, читал «Николай Никкльби», с удовольствием перечитывал «Несчастные» Гюго — этот роман он очень высоко ставил. А ее заставлял читать своего любимого автора — Бальзака. «Отца Горио» он привез для жены из Петербурга. Анна Григорьевна ждала ребенка и на досуге всё шила и вязала. Он писал «Идиота».

Уже и тогда Анна Григорьевна поняла, что он органически не был способен на долгую идиллию, что ему всё еще нужно было перебивать размеренное, им же самим налаженное существование сильными ощущениями. Ему необходим был порядок для работы и беспорядок для вдохновения, в мещанский быт он уходил от слишком сильных волнений мысли и воображения. Без гроз и бурь он задыхался, а рулетка была одним из душевных громоотводов. И Анна Григорьевна сделала то, на что вряд ли отважилась бы женщина более опытная, но менее чуткая: сама предложила мужу поехать в Саксон ле Бен, где была рулетка, когда увидела, что он киснет, а работа не спорится. Он сперва противился, но затем уехал — и всё произошло как по нотам: выигрыш, проигрыш, заклад обручального кольца и зимнего пальто, отчаяние, холод и голод, слезные письма многотерпеливой жене, и возвращение домой по билету третьего класса. Но результат оказался безошибочным: после этой встряски он в ноябре написал почти сто страниц «Идиота». Он уве-

рял, что никогда у него не было идеи богаче и лучше, чем та, что выяснилась в романе, но он был недоволен ее воплощением. «Безмерная задача, — говорил он о моральной и идейной основе «Идиота», этой трагедии христианского милосердия и любви в столкновении со страстями и скверной мира, — но выполнение неудовлетворительное».

Впрочем, так у него бывало всегда: он восторгался сюжетами и идеями задуманных произведений, но хмурился в процессе их писания и повторял, что всё выходит не так, недостаточно хорошо и ярко. Про «Идиота» сомнения его были весьма велики, и он писал Майкову: «у меня единственный читатель Анна Григорьевна, ей даже очень нравится, но она в моем деле не судья». Судьей она не могла быть не только потому, что одобряла всё, сделанное мужем, и точно лишалась элементарного критического чутья, слушая или читая его произведения, но и от того, что и по существу была довольно ограничена в своих художественных вкусах. Он избегал разговаривать с ней на теоретические темы и не искал в ней философской или религиозной глубины. В первые годы брака она попросту не могла возвыситься до его уровня. Впрочем, она охотно училась, и это его трогало, а ее внимание и попытки улучшить условия его труда действительно шли ему на пользу.

«Анна Григорьевна моя истинная помощница и утешительница, — писал он, — любовь ее ко мне беспредельная, хотя, конечно, есть много различного в наших характерах».

Но несмотря, а, может быть, и благодаря этому различию, сближение их всё усиливалось и в радости и в горе.

В феврале 1868 г. у Достоевских родилась дочь, и он так волновался и так обнимал на радостях женев-

скую акушерку, что та только руками разводила и всё восклицала: «Oh, ces Russes, ces Russes!» (О, эти русские!). Девочку назвали Софьей, по имени племянницы, дочери Веры Михайловны Ивановой, Достоевский был нежно привязан к Софье Ивановой. В эти годы она была ровесницей Анны Григорьевны, и в дядиной любви, несомненно, таился бессознательный эротический элемент. Он и баловал и ревновал ее, не только, как родную.

Достоевский был горд и доволен своим отцовством и страстно любил ребенка. Это не помешало ему вновь поехать в Саксон ле Бэн, из которого он посылал раздирающие письма: «Прости Аня, прости милая! Ведь я как ни гадок, как ни подл, а ведь я люблю вас обеих, тебя и Соню (вторую тебя) больше всего на свете. Я без вас обеих жить не могу».

Но маленькая Соня, «милая, ангел», как он называл ее, не выжила, и в мае они опустили ее гробик в могилку на Женевском кладбище. Это был страшный удар не только для Анны Григорьевны, но и для Достоевского. Он рыдал и отчаивался, как женщина, был несколько недель безутешен, и никак не мог примириться с тем, что он называл «бессмысленностью смерти». В его письмах этого периода — горестное осуждение мировой несправедливости, сомнение в Божественной мудрости и вопрос об оправдании страдания; его впоследствии сформулирует Иван Карамазов, приводя в пример детские муки, как свидетельство равнодушия Провидения или дорогой цены вселенской гармонии.

После смерти младенца Женева им стала ненавистна, они уехали в Веве, на том же Леманском озере, и на пароходе Достоевский поразил жену, в первый раз жалуясь на судьбу, на все удары и обиды прошлого, как на несправедливость неба. В этот момент не было у него ни смирения, ни христианских чувств —

одна боль человека, раздавленного враждебными силами.

В Веве они провели лето, Федор Михайлович работал над «Идиотом», тосковал по умершей дочери, болел, жаловался, что среди этих нависших гор нельзя создать ничего хорошего, — и в конце концов они переехали в Италию. Как при каждом их отъезде, надо было изворачиваться, находить деньги, и вот опять полетели письма, просьбы, телеграммы, и только по разрешении очередной финансовой драмы, не без помощи матери Анны Григорьевны, приехавшей к ним в Швейцарию, удалось двинуться в путь. Ехали в почтовом дилижансе через Симплонский перевал, на крутых взгорьях пассажиры выходили и шли пешком. Анна Григорьевна, в длинном черном платье с кринолином, опиралась на руку мужа, почтальон с любопытством смотрел на этого бородатого мужчину с измученным лицом, нежно ведшим бледную молодую даму в трауре. Путешествие несколько рассеяло их и восстановило здоровье Анны Григорьевны: она была анемична, бледна, а после смерти ребенка совсем измаялась от слез и расстроенных нервов.

В Италии они отдохнули. Достоевский любовался Миланским собором и картинами великих мастеров, но из Ломбардии их выгнала осенняя дождливая погода, и они обосновались во Флоренции. Поселились они по ту сторону Арно, возле палаццо Питти, и прожили там десять месяцев. Это было, пожалуй, самое спокойное и счастливое время всего их путешествия. Достоевский, по обыкновению, ворчал, что по утрам его будят крики ослов, что на улице слишком шумно, а летом чересчур жарко, но оказалось, что шум не мешает работать, что жара полезна для его здоровья, что припадки эпилепсии во Флоренции сократились, а общее состояние его значительно улучшилось. Они

гуляли по садам Боболи с их фонтанами, гротами и статуями, перед палаццо Питти в январе цвели розы, это их восхищало; перейдя Старый Мост, они шли на соборную площадь, и Достоевский восхищался сценами из Ветхого и Нового Завета, вырезанными на бронзовых дверях Крестильни скульпторами Гиберти и Донателло. Он мечтал иметь их изображение у себя в кабинете в России. Он также любил галерею Питти, и назначал свидание Анне Григорьевне перед Венерой Медичи или перед Мадонна делла Седия Рафаэля (Божья Матерь в кресле). Иногда они совершали прогулки в Кашинах, парке на краю города, и часто заходили в библиотеку, Достоевский брал на дом для чтения Вольтера и Дидро — французским он владел довольно хорошо. Энциклопедистов он читал в связи со многочисленными литературными планами, созревшими во флорентийском уединении. Он задумал большой роман «Атеизм», намереваясь дать в нем картину настроений современной русской молодежи, но вскоре оставил его — слишком был оторван от родины. Затем он начал набрасывать проект «Жития Великого Грешника»: он собирался писать его два года и выразить в нем свои сокровенные взгляды. Черты Ставрогина, старца Зосимы и отдельные автобиографические подробности сливались в этом замысле в едином общем сюжете: впоследствии этот роман частично вошел в «Бесы» и частично в «Братья Карамазовы». Но хотя образы и идеи вихрем кружились в его голове, он нервничал и колебался между различными проектами. Анна Григорьевна приписывала это их одиночеству: они во Флоренции никого не знали и ни с кем решительно не встречались, и его незнание итальянского языка только усиливало ощущение полной изолированности. Они жили, точно в монастыре, и Анна Григорьевна считала, что мужу ее сильно недоставало живого общения с людьми. Кроме того, она была опять

беременна, и он не хотел, чтобы она рожала в стране, где он не мог даже объяснить с врачом или акушеркой. Поэтому летом 1869 года они снова двинулись в путь, несмотря на удручающее безденежье. Достоевский говорил, что они как Мистер и Миссис Микоубер, знаменитая пара бедняков из «Давида Копперфильда», одной из самых любимых им книг.

Сперва они поехали в Прагу, через Венецию и Триест, в надежде встретиться с чешскими деятелями славянского возрождения — но в Праге не удалось разрешить квартирный вопрос, и они в конце концов вернулись в Дрезден, они хорошо знали и любили этот город. Здесь в сентябре 1869 г. родилась их вторая дочь, ее окрестили Любовью. Родители тряслись над ней, но она росла крепким ребенком, Анна Григорьевна, очень поздоровевшая в Италии, сама ее кормила, и Достоевский опять отдался радостям отцовства.

«Ах, зачем вы не женаты, — писал он Страхову, — и зачем у вас нет ребенка, клянусь вам, что в этом три четверти счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть».

Но материальное положение было очень трудно: когда родилась Любовь, в семье всех денег было десять талеров, квартира оставалась нетопленной, нужно было закладывать сюртук и продавать белье, чтобы выручить родильницу.

«Как я могу писать, — жаловался Достоевский Майкову, — когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да чорт со мной и моим голодом. Но ведь она кормит ребенка, что ж если она последнюю свою теплую шерстяную юбку идет сама закладывать... А ведь у нас второй день снег идет, она простудиться может».

Его письма — вопль отчаяния.

«Пришлите мне двести рублей, спасите меня. Слово спасите примите буквально».

Жили они, действительно, впроголодь, ребенка не на что было крестить, и когда рукопись второй части «Идиота», над которой он работал, не покладая рук, написав в два месяца почти десять листов, была, наконец, готова, в доме не нашлось пяти талеров, необходимых для отправки ее заказным пакетом в «Русский Вестник». Только благодаря присутствию духа Анны Григорьевы, закалившейся в этой школе нужды и борьбы, им удавалось кое-как устраивать трудные их дела. Положение улучшилось с переездом в Дрезден матери Анны Григорьевны. Вскоре туда же приехал и ее брат, бывший студент Петровской Академии в Москве, где незадолго до этого нечаевцами был убит студент Иванов. Его рассказ об этом подал Достоевскому мысль о сюжете «Бесов», в которых он решил развенчать революционеров и изложить свои мысли об их губительной роли. Заграницей окончательно оформился его политический консерватизм, его приятие самодержавия, как основы русской жизни и залога устойчивости русского государства. В идеях социализма и революции он видел величайшую опасность для религиозного и духовного развития не только России, но и всего мира, и полемика с отечественными носителями революционных идей представлялась ему долгом его совести: «Бесы» он поэтому сознательно строил, как тенденциозный и полемический актуальный роман, но, как всегда, в исполнении расширил рамки, подняв частное на метафизические и психологические высоты. И в то же время его славянофильские воззрения и надежды на миссию России, призванную возродить гибнущий Запад, еще более укрепились в нем за годы жизни в Европе.

Достоевские провели в Дрездене весь 1870 год, и за это время брак их устоялся, принял законченные формы — и физически, как сожитительство двух близких людей, и как семейный организм. Особенно этому

помогла новая, на этот раз последняя поездка Достоевского в Висбаден. Сама Анна Григорьевна предложила ему «развлечься», он весь год работал очень тяжело, закончил «Вечного мужа» и усиленно писал «Бесов». Это развлечение обошлось ему дорого, но оно положило предел его игорной страсти. После лихорадки азарта и проигрыша он написал жене, прося выслать 30 талеров на обратный путь, и, конечно, спустил их. Им овладело затем страшное предчувствие и небывалый по силе приступ раскаяния.

«Я видел во сне отца, — пишет он жене из Висбадена, — и в таком ужасном виде, в каком он два раза только мне являлся в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. А теперь, как припомню и мой сон три дня тому назад, что ты поседела, то замирает сердце».

В том же письме, от апреля 1871 года, он восклицает: «Аня, я так страдаю теперь, что, поверь, слишком уж наказан. Надолго помнить буду! Но только бы теперь тебя Бог сохранил, ах, что с тобой будет?.. всю жизнь вспоминать это буду и каждый раз тебя моего ангела-хранителя благословлять. Нет, уж теперь твой, нераздельно весь твой. А до сих пор наполовину этой проклятой фантазии принадлежал».

Это испущенное его признание, что страсть к игре соперничала с любовной страстью, показывает, до чего значителен был Висбаденский эпизод весны 1871 года: больше он никогда в рулетку не играл и совершенно излечился от этой своей мании, причем излечение произошло разом, точно отрезало. Впоследствии он еще раз ездил в Европу и бывал в Германии один, без жены, при полной свободе отправиться в какой-нибудь город, где имеется казино: но ни разу больше не возникало у него даже поползновения вернуться к зеленому столу. Для психоаналитика особый интерес должна представить связь Эдипова комплекса

с этим внезапным прекращением игровой одержимости, и вообще роль видения отца, предшествующего всем крупным кризисам (он говорит о «бедах») его жизни. Еще более очевидна эротическая природа этого внезапного «исцеления». Игра, как замещение неудовлетворенной сексуальности и как выход эмоциональной тревоги и тоски, уже больше не нужна ему, потому что нормализовались его половые отношения с женой, и наступило сравнительное успокоение в эротической сфере. В борьбе двух инстинктов и бессознательных склонностей Анна Григорьевна вышла победительницей, и он это отлично понял, говоря, что теперь принадлежит ей безраздельно. Теперь — означало после отказа от рулетки. Отныне он бесповоротно и окончательно отдался семье и жене. И в этом был символический смысл Висбадена. Он также означал, что одному из его восстаний наступил конец, что он отказался от попыток «исправить природу» удачей, схваченной налету, что он больше не желал кидать вызова судьбе. И в этом было метафизическое значение его «обращения». В нем звучало примирение, или, по крайней мере, надежда на него: с этих пор и до конца жизни Достоевский этого примирения ищет, а восстания изображает только для того, чтобы их осудить и чтобы им противопоставить идеал религиозного смирения и христианского милосердия.

Любопытно также, что именно в письме, говорящем об отказе от игры, он пишет: «Поскорее бы только в Россию! Конец с проклятой заграницей и фантазиями! О, с какой ненавистью буду вспоминать об этом времени». Заграничная жизнь дала ему всё, что могла, и он ее отбрасывал с неблагодарностью, забыв, что именно здесь вырос и расцвел его брак. И так как уединение с Анной Григорьевной уже принесло свои плоды, он торопился прервать его.

Оснований для возвращения в Россию было

очень много. Хотя в 1870 и начале 1871 года в Дрездене они были не так одиноки, как прежде и завели несколько знакомств среди русских, проживавших в городе, Анна Григорьевна тосковала по родине и беспокоилась по поводу дома, попавшего в руки к такому управляющему, что потеря его становилась неизбежной. А Федор Михайлович чувствовал свой отход от русской действительности, ему трудно было заканчивать «Бесов», не окунувшись снова в мир русских споров и мечтаний. «Без родины страдание, ей Богу, — пишет он Майкову, — мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна». Он даже начинал говорить о «гибели своего таланта» вдали от родной почвы, и Анна Григорьевна поняла, что надо уезжать из Европы.

Еще в Веве Достоевский получил анонимное письмо с предупреждением, что его подозревают в сношениях с революционерами, приказано вскрывать его письма и строжайше обыскать при возвращении на русской границе. Взгляды и выступления автора «Бесов» были таковы, что всякое разумное правительство должно было бы считать его своей опорой и быть ему бесконечно признательно за его защиту царского режима и православия и за его поддержку официальной внутренней и внешней политики. И, однако, клеймо бывшего петрашевца и каторжника ничем не могло быть смыто для тупых бюрократов из Третьего Отделения: вплоть до смерти он находился под строжайшим полицейским надзором. Он волновался и кипел, упрекая жену за неаккуратность в корреспонденции, когда она жила в деревне, а он ездил на воды в Эмс, но задержка в ее письмах происходила по той простой причине, что они перлюстрировались местными властями. Только после Пушкинских торжеств в 1880 году, за семь месяцев до его кончины, его перестали считать «подозрительным» — для этого понадобилось

вмешательство такого сановника, как Победоносцев, и великих князей.

В июне 1871 года, перед отъездом из Дрездена, Достоевский сжег рукописи последних четырех лет, в том числе оригиналы «Вечного мужа» и «Идиота», и, по словам жены, «ту часть романа «Бесы», которая представляла оригинальный вариант этого тенденциозного произведения». Ей удалось спасти лишь его записные книжки к этим трем произведениям: она дала их матери для тайного провоза в Россию. На границе их действительно строго обыскали. Анна Григорьевна была беременна, она с трудом держалась на ногах, дожидаясь, пока жандармы пересмотрят все их книги и бумаги и окончат длинный допрос мужа. Это происходило в тот самый момент, когда вся левая общественность России нападала на Достоевского за его резкие обвинения радикалов и революционеров в очередных главах «Бесов».

Они приехали в Петербург 8-го июля 1871 года: через неделю у Анны Григорьевны родился сын Федор.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Многое изменилось за те четыре года, что они провели на чужбине. Физически Федор Михайлович окреп, припадки падучей стихли, а к 1877 году совсем прекратились. Правда, у него уже начинались всякие неприятности с дыхательными путями: их болезнь потом свела его в могилу. И всё чаще нападал страх смерти: невыносимые мгновения ужаса и отвращения при мысли, что его больше не будет, он исчезнет, сознание его растворится в ледяном сне. Он хотел и не мог верить в бессмертие души, несмотря на то, что религиозные настроения в нем укрепились, и он называл себя теперь ревностным сыном православной церкви. Он стал несколько мягче и снисходительнее к людям и говорил о смирении и кротости, как высших христианских добродетелях. Анна Григорьевна полагала, что ей удалось немного притупить его раздражительность и мнительность. Во всяком случае она влияла на него умиротворяюще. Заграницей они сдружились больше, чем она об этом мечтала, когда они, нервные, недовольные, выезжали из Петербурга четыре года тому назад.

Их союз вырос и утвердился в испытаниях: нужда и унижения, одиночество и тяжкая работа, рождение и смерть первой дочери, безумие рулетки и исцеление от него — всё это создало привязанность, необыкновенную по силе и глубине. Да и Анна Григорьевна очень изменилась: Россию покинула молоденькая и не-

опытная девочка, а вернулась «мать семейства», как в шутку называл ее муж, и характер ее окреп и выработался. При посторонних, особенно если то были мужчины (она ни на минуту не забывала ревности Достоевского), она оставалась холодна и молчалива. Но наедине с ним, в семье и даже среди близких друзей, охотно смеялась и дурачилась — и он любил эту ее жизнерадостность. Он особенно ценил ее непосредственность и оптимизм, потому что сам был лишен их, и противоречия своего сознания и инстинктов, свою углубленность в мрачные проблемы зла, тщеты бытия, раскола между Богом и человеком, ощущал как болезнь и Каиново проклятие. Жить просто, не задумываясь, легко ступая по этой земле, он не мог, и то, что на это была способна любимая женщина, бок о бок с ним, представлялось ему чем-то вроде чуда.

Начало жизни в России было трудно: дом Анны Григорьевны был продан с торгов за бесценок, мебель и вещи пропали из-за неуплаты процентов, библиотеку Паша разбазарил по мелочам, кредиторы налетели, как волчья стая, жить приходилось только на гонорар за последнюю часть «Бесов», печатавшихся в «Русском Вестнике», надо было устраивать квартиру, покупать мебель в рассрочку, и на руках было двое детей. И вот тут-то Анна Григорьевна отстранила Достоевского от переговоров с кредиторами и взяла на себя не только хозяйство, но и все финансовые дела. Сперва она еще посвящала его в свои денежные планы и ухищрения, а потом и это прекратила. Он укорял ее в скрытности, но она попросту оберегала его покой и избавляла от неприятностей. Конечно, она делала ошибки, и у нее имелись недостатки: например, по причине ли жизни в меблированных комнатах за границей или по закваске шестидесятницы, не обращавшей внимания на обстановку и внешний комфорт, она была не слишком хорошей и слегка неряшливой хо-

зайкой, они часто меняли квартиры, и Достоевский корил ее, что для сбережения нескольких рублей она готова была пожертвовать рядом существенных удобств. Но линия ее была правильная: она охраняла его от бытовых забот, прекрасно зная, что, если ему дать волю, он будет волноваться из-за неудачной стирки белья или приходиться в отчаяние от счета бакалейной лавки. Если б не ее твердость и распорядительность, он заболел бы от беспокойства, например, в 1872 году, когда у них была полоса несчастий: дочь сломала руку, ее плохо вправили, пришлось делать операцию, мать Анны Григорьевны заболела, сестра ее умерла, сама она страдала от нарывов в горле и доктора опасались за ее жизнь.

С 1872 года до его смерти в 1881 Анна Григорьевна привела в порядок все дела мужа. Она постепенно удовлетворила кредиторов, и хотя выплата долгов продолжалась вплоть до 1879 года, она сняла их бремя с сознания Достоевского. Она сделалась издателем его произведений, за них до этого ему предлагали ничтожные суммы (отдельное издание «Вечного мужа» принесло ему 150 рублей, а за «Бесов» ему предложили 500 рублей с уплатой в два года), а ей удалось превратить их в источник постоянного дохода. Достоевский передал ей в 1874 все права на его сочинения: Толстой сделал то же с правами на его художественные произведения, уступив их жене, Софье Андреевне, после того как по моральным соображениям отрекся от всякой собственности, включая и литературную. Анна Григорьевна посоветовала мужу принять редактирование журнала «Гражданин» в 1873 году, когда он был утомлен по окончании «Бесов» и искал отдыха от чисто творческой работы. Она затем была корректором и администратором его «Дневника писателя», где он с 1875 г. печатал свои отклики на политические, общественные и художественные события — и эта

публицистическая деятельность оказалась весьма выгодной финансово: когда в 1877 году Достоевский прекратил издание «Дневника писателя», пользовавшегося большим успехом, у него оказалась материальная возможность отдаться писанию без всякой тревоги: с 1878 он работает в течение двух лет над «Братьями Карамазовыми» и не должен, как прежде, прерывать романа, для поисков денег. Анна Григорьевна создала ему очень скромную, но прочную обеспеченность, устроила через брата покупку небольшого домика в Старой Руссе, где они проводили лето, и где они прожили также и зиму 1874-1875, когда он писал «Подростка». Она не была практическим человеком, но стала им и развила свою деловитость, потому что обстоятельства заставили. Самое трудное, конечно, было бороться с неумением Достоевского считать деньги и с его расточительностью. Он вечно покупал никому ненужные подарки, в столовой у них стояла дорогая саксонская ваза, а стулья были ломаные и дырявые. Однажды он вдруг купил ей браслет за 300 рублей, когда нехватало на домашние расходы, и она хитрила, говоря, что браслет чудесный, но не для ее руки, и заставила вернуть покупку. Иной раз она ждала, что он принесет только что полученный аванс из журнала за «Подростка», печатавшегося в 1875 г. в «Отечественных Записках», а он вместо этого являлся нагруженный игрушками для детей, дорогими рубашками для жены, биноклем, веером из слоновой кости и самыми разнообразными предметами для самого себя и для семьи. Он бывал в таких случаях очень горд своими покупками и спрашивал жену, нравятся ли они ей. «Нравятся, — отвечала Анна Григорьевна, — только вот нет у меня денег на обед».

За четырнадцать лет жизни с Достоевским Анна Григорьевна испытала немало обид, тревог и несчастий (второй их сын, Алексей, родившийся в 1875 г.,

вскоре умер), но она никогда не жаловалась на свою судьбу: ей достаточно было сознания, что она подружка великого писателя, что ее любовь облегчает для него ношу будничности. Она за ним ходила, как за ребенком, всем решительно для него жертвовала, включая даже воспитание детей, она создала ему семью, взяла на себя обязанности деловой секретарши и казначея, переписывала его романы, была их первым читателем и критиком и корректором, не спала ночами, чтоб выслушать новую главу или проект нового произведения, утешала его во время припадков тоски, болезни, страха смерти, безропотно сносила взрывы его азарта, ревности, придирчивости и мании преследования. Это был настоящий подвиг, и она себя ему посвятила, пошла на все тяготы и страдания, как идут в монахини — до конца, во имя долга, бывшего для нее высшей ценностью. Она и была примером той деятельной любви, о которой Достоевский говорил в своих романах, и она заслужила, чтоб он посвятил ей «Братьев Карамазовых». Любопытно, что личность Анны Григорьевны не нашла отражения в творчестве Достоевского. Ни в одном из романов, написанных за время их брака, нет женских типов, навеянных ее личностью. Очевидно, она была настолько прочной и органической частью его существования, что он не испытывал необходимости проецировать ее на экране художественного вымысла.

Можно с уверенностью утверждать, что годы, проведенные с Анной Григорьевной по возвращении из-за границы, были самыми спокойными, мирными и, пожалуй, счастливыми в его жизни. Вершина его творческой деятельности — те несколько лет, от 1864 до 1871, когда были созданы «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Игрок», «Идиот», «Вечный муж» и «Бесы», то есть самые значительные и глубокие его произведения. Из этого периода на брак

падают только последние четыре года, да и те он провёл в бедности и волнении своих заграничных скитаний, а не в достатке семейного уюта. Как раз между 1871 и 1878 он написал только один роман — «Подросток» — да и тот не так уж хорош. И для некоторых исследователей возникает вопрос: в какой степени семейное счастье способствовало творческой работе писателя, и не принадлежал ли он к тем людям, для которых спокойствие и обеспеченность, семья и бытовая устойчивость отнюдь не становятся источником вдохновения. Но, во-первых, Достоевский был уже не молод и поэтому нуждался в отдыхе, во-вторых, семья и нормальная обстановка были ему необходимы, ибо без спуска с метафизических высот у него бы сердце разорвалось от разреженного воздуха головокружительных вершин. И, наконец, ведь именно в условиях любовной заботы, созданных Анной Григорьевной, Достоевский написал самое замечательное свое произведение — «Братья Карамазовы». Но есть и еще одно, совсем не литературное соображение: разве Достоевский, столько страдавший на своем веку, не имел права на малую толику человеческой радости? Неужели ремесло художника исключает обыкновенные простые переживания и наслаждения? Дорога плата за творчество, и трудно совместить озарения мысли и искусства со скромными наградами мещанского счастья — но именно к ним стремился Достоевский и достиг их благодаря своей подруге.

Налаженность жизни и половая удовлетворенность, приведшая в 1877 к полному исчезновению эпилепсии, мало изменили характер и привычки Федора Михайловича. Его знакомый Кони, вспоминая о нем, удачно цитирует Гейне, сказавшего, что великий человек в разгаре деятельности похож на солнце: всего лучше можно его рассмотреть при восходе и при закате.

Достоевскому было далеко за пятьдесят, когда он

несколько успокоился — хотя бы внешне — и начал привыкать к семейной жизни. Он попрежнему предпочитал работать при двух свечах в ночной тишине и вставал поздно. К утреннему завтраку он выходил в городском пиджаке и галстуке, и всё осматривался, нет ли где пятен на costume: очень их не любил. Пил он чай, и требовал такого тщательного приготовления этого напитка, что даже Анна Григорьевна не вытерпела его привередливости и отказалась этим заниматься: он сам возился с чайником и кипятком, выпивал два стакана сильно подслащенного крепкого чая, а третий уносил в кабинет и прихлебывал, работая. Всё в его комнате должно было оставаться в неизменном порядке и положении, и каждое утро Анна Григорьевна проверяла, на своем ли месте мебель в кабинете и бумаги, газеты и книги на письменном столе, особенно если вчера вечером были гости и, не дай Бог, что либо сдвинули и потревожили. Пыль со стола и бумаг имела право вытирать только она одна, и если что-нибудь было не так, Достоевский подымал целый скандал. Рядом с его письменным столом находился ее собственный столик с карандашами и тетрадками: за ним она стенографировала и правила корректуру. Достоевский наносил сотни исправлений на свои рукописи, а на полях рисовал профили, домики, узоры и предметы. В ящичке у него хранилась пастила, изюм, орехи и сласти, он угощал ими детей, когда они забегали случайно в кабинет, прорвав материнскую заставу.

К четырем часам он выходил на прогулку, возвращаясь домой, покупал шоколад у Балле или икру и соленья у Елисеева. В шесть обедали, в девять пили чай всей семьей, затем он либо работал, либо уезжал, иногда принимал гостей — почти всегда близких знакомых. Он любил, чтобы к нему ходили друзья; Пашу и других родных Анна Григорьевна постепенно отвалила, симпатии к ним никакой не чувствовала и сумела

в этом отношении повлиять на мужа. Она не любила выезжать и охотно отпускала его одного: в конце семидесятых годов он стал вхож в разные салоны, особенно графини С. Толстой, и у него завелось не мало поклонниц из высшего общества. Анна Григорьевна рассказывала, что он имел много искренних друзей среди женщин, и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Он входил в интересы женщин, «редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович». Но она ничуть его не ревновала. Когда он приезжал из гостей домой во втором часу ночи, она ждала его, готовила ему чай, а он, переодевшись, в широкое летнее пальто, служившее ему вместо халата, приходил к ней в спальную — они обыкновенно спали отдельно — рассказывал ей со всеми подробностями, как он провел вечер, и беседа их порою длилась до утра.

Горячность и подозрительность его ничуть не уменьшились с годами. Он часто поражал незнакомых людей в обществе своими гневными замечаниями: он злился по всякому поводу, был чувствителен к иронии, и первый наускакивал, как бы желая предупредить возможность оскорбления. Многие эту манеру беседы считали дерзостью.

Страхов уверял, что Достоевского нельзя было назвать ни хорошим, ни счастливым человеком, ибо он был «завистлив, развратен, и всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы его смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя самым лучшим из людей и самым счастливым... В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «я ведь тоже человек». Такие сцены

бывали с ним беспрестанно, потому что он не мог удерживать своей злости».

Другие современники категорически отрицали эти обвинения и выходки его приписывали пылкому и раздражительному темпераменту. Даже в наружности его, по их мнению, чувствовалось что он застенчив и обидчив. Вот как описывал его Опочинин в 1879 году:

«Немного сутуловат, волосы и борода рыжеватые, лицо худое с выдающимися скулами, на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькнет в них подозрительность и недоверие, но большей частью видна какая-то дума и будто печаль».

Лицо это, многих удивлявшее печатью бунта и страдания, совершенно преображалось, когда он выступал на публичных вечерах. В 1879-1880 гг. его часто приглашали прочесть свое или чужое — и чтения эти всегда кончались овациями. Несмотря на астму и хрипоту, читал он изумительно, слушатели теряли чувство реальности, забывали, где они, и поддавали под «гипнотизирующую власть этого изможденного невзрачного старичка с пронзительным взглядом уходящим куда-то вдаль глаз». Он преображался, вдохновенное лицо его казалось лицом пророка. Приезжал он на эти благотворительные вечера в сопровождении «оруженосца верного», как он называл Анну Григорьевну, следовавшую за ним с книгами, шарфами, пастилками от кашля. С эстрады он внимательно следил, где она, с кем сидит, на кого смотрит, и устроил ей однажды сцену ревности, потому что она не помахала ему белым платком из зала.

В шестьдесят лет он был так же ревнив, как и в молодости. Но он был и так же страстен в проявлениях своей любви.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

У Достоевского, как и у всех людей, в его любви к жене был свой ритм, свои приливы и отливы, и он отлично понимал: чувство и чувственность описывают кривые, сексуальное и сентиментальное одинаково подвержены колебаниям нарастания и падения. Но постоянным в их отношениях была именно эротика. Он знал, что любовь и влюбленность не одно и то же, что можно любить глубоко и верно, не испытывая больше опьянения и порыва влюбленности, и поэтому так поражался своей способности вновь и вновь влюбляться в Анну Григорьевну. Поистине удивительна физическая свежесть, пронесенная им через долгие годы их сожителства — и это несмотря на приближение старости. Половое желание не только не притупилось с годами, но даже приобрело новую силу. В 1874 году, на седьмой год брака, расставшись с женой на две недели — она на даче, он в Петербурге — он пишет ей:

«Ужасно, ужасно надобно тебя видеть, несмотря даже на лихорадку, которая даже в одном отношении облегчает меня, удаляя...». Потом он едет в Эмс лечиться и признается: «Думаю о тебе поминутно, Анька, я тоскую по тебе мучительно!.. Вечером и ложась спать (это между нами) думаю о тебе уже с мучением, обнимаю тебя в воображении и целую в воображении всю (понимаешь?). Ты мне снишься обольстительно. Ты говорила, что я, пожалуй, пушусь за другими женщинами здесь за границей. Друг мой, я на опыте изве-

дал, что и вообразить не могу другой, кроме тебя. Не надо мне совсем других, мне тебя надо, вот что я говорю себе каждодневно. Слишком я привык к тебе и слишком стал семьянином. Старое всё прошло. Да и нет в этом отношении ничего лучше моей Анечки. Не юродствуй, читая это, ты должна знать меня. Надеюсь, что письмо это никому не покажешь».

«Старое», очевидно, включало не только авантюры сердца, а гораздо более грубые опыты плоти. Описывая эмское лечение, он сперва жалуется, что превратился в «мумию»: «во мне нет желаний. Первый раз в жизни, неужели тоже от лечения? В таком случае... Тем не менее целую тебя ангела моего 1000 раз». Но отсутствие желаний скоро проходит, он видит «непристойные сны» и «с ночными последствиями, что очень дурно, ибо все-таки действует на грудь».

Конечно, его сексуальное напряжение объяснялось не только половой привычкой брака, но и интенсивностью его эротики и его воображения и сознанием, что тридцатилетняя женщина, прожившая с ним целое десятилетие, не только его любит, но и удовлетворена физически: это очень на него влияло. В 1875 Анна Григорьевна писала ему: «Я считаю нашу семью образцом семьи (несмотря на некоторые стычки), и вряд ли из тысячи семейств найдется одно, где муж и жена так глубоко и прочно слились и поняли друг друга, а главное, чем дальше, тем больше любим и уважаем друг друга. Я считаю себя самой счастливою из женщин»... Она знала, чем его обрадовать, а он через год, опять из Эмса, дал ей новое доказательство и объяснение любви к ней:

«Ты знаешь, что я каждый раз, после долгой разлуки в тебя влюбляюсь и приезжаю в тебя влюбленный. Но, ангел мой, этот раз несколько иначе. Вероятно ты заметила, что я и уехал из Петербурга, уже в

тебя влюбленный. После нашей крупной ссоры я мог брюзжать и, укладываясь в дорогу, быть нетерпеливым (это уж мой характер), но в то же время я начал в тебя влюбляться и тогда же дал себе в этом отчет, даже подивился. За время нашего девятилетнего супружества я был влюблен в тебя раза четыре или пять, по несколько времени каждый раз. Раз и теперь с наслаждением вспоминаю, как четыре года назад, я влюбился в тебя, когда мы как-то крупно поссорились и друг с другом несколько дней не говорили; мы куда-то поехали в гости и я сел в угол и смотрел оттуда на тебя, и с замиранием сердца любовался, как ты весело с другими говорила. Представь себе, мне здесь пришло в голову, что я влюбился в тебя в Петербурге в последние дни отчасти и потому, что мы вместе спали. Мы уже давно с тобой не спим вместе, много лет (начиная с детей), и это вдруг могло на меня подействовать. Не говори, Аня, что эта мысль слишком материальна, тут не одна материальность. Мысль, что это существо мое всецело, не хочет от меня обособляться и даже спит со мной в одной постели — эта мысль ужасно действует... Мне становится так приятно, что ты подле, что уж конечно это ощущение было для меня совсем новое, хоть прежде мы и спали, но я это давно забыл...».

Он вспоминает о том, что было перед его отъездом:

«Но ты была так занята, только один раз и было, когда мы возвращались с обеда накануне отъезда, да еще безумные» (строчка зачеркнута Анной Григорьевной). «Вспоминаю теперь, ангел мой, что я тебе позволил (опять зачеркнута), а теперь боюсь... Ты можешь смеяться слову «позволил». (Речь, вероятно, шла о том, что она хотела предупредить новую беременность). А через несколько дней в письмах звучит та исступленность, какая была у него в молодости:

«Целую пять пальчиков на твоей ножке, целую

ножку и пяточку, целую и не нацелуюсь, всё воображаю это... И, наконец, как ты можешь дивиться, что я так люблю тебя, как муж и мужчина? Да кто же меня так балует, как ты, кто слилась со мной в одно тело и в одну душу? Да все тайны наши на этот счет общие! И я не должен после этого обожать каждый твой атом и целовать тебя всю без насыщения, как и бывает? Ведь ты и сама понять не можешь, какая ты на этот счет ангел-женочка! Но всё докажу тебе возвратясь. Пусть я страстный человек, но неужели ты думаешь (хоть и страстный человек), что можно любить до такой ненасытности женщину, как я тысячу раз уже тебе доказывал». Некоторые письма явно написаны в состоянии острого эротического возбуждения:

«Моя бесценная, моя жена и любовница, обещаешься потолстеть — вот это прелесть. И здоровья больше и всего будет больше... дай тебе Бог, не для одного того, то само собою и мы спуску не дадим... в этом отношении пора бы нам встретиться (ух, пора!) влюбленный в тебя муж, целую пальчик на ножке...».

Летом 1879 года он снова в Эмсе, здоровье его плохо, эмфизема легких (катарр дыхательных путей и сосудов), почти не поддается излечению, ему 58 лет, — а письма к жене дышат все той же физической страстью, ревностью, желанием:

«Каждую ночь ты мне снишься... целую тебя всю, ручки ножки обнимаю... себя... береги, для меня береги, слышишь, Анька, для меня и для одного меня... как хочется мне поскорее обнять тебя, не в одном этом смысле, но и в этом смысле до пожара»... (зачеркнуто Анной Григорьевной).

Возможность близкой смерти только усиливает его любовь. И в то же время он забывает ее День Ангела, он рассеян и забывчив (однажды, в официальном учреж-

дении, выбирая метрику дочери, он забыл девичью фамилию Анны Григорьевны).

К сожалению, большинство его писем 1879 года из Эмса изуродовано его женой, не желавшей, чтоб кто-нибудь узнал все интимные стороны половой жизни Достоевского, и о том, что он хотел сказать, мы можем лишь догадываться:

«Теперь об интимном очень, — пишет он в августе 1879 года, — пишете, царица моя и умница, что видите самые соблазнительные сны (зачеркнуто две строки). Это привело меня в восторг и восхищение, потому что я сам здесь не только по ночам, но и днем думаю о моей царице и владычице непомерно, до безумия. Не думай, что только с одной этой стороны, о, нет, но зато искренне признаюсь, что с этой стороны думаю до воспаления. Ты пишешь мне письма довольно сухие, и вдруг выскочила эта фраза (зачеркнуто десять с половиной строк)... которой бы она не схватывала мигом, оставаясь вполне умницей и ангелом, а, стало быть, всё происходило лишь на радость и восхищение ее муженька, ибо муженек особенно любит, когда она вполне откровенна. Это-то и ценит, этим-то и пленился. И вот вдруг фраза: самые соблазнительные сны (зачеркнуто шесть строк). Позвольте, сударыня (зачеркнуто шесть строк). Ужасно целую тебя в эту минуту. Но чтоб решить о сне (зачеркнуто две строки), то, что сердечко моей обожаемой жонки (зачеркнуто полторы строки). Анька, уже по этой странице можешь видеть, что со мной происходит. Я как в бреду, боюсь припадка. Целую твои ручки и прямо и в ладошки и ножки и всю».

Через три дня он говорит о том же самом:

«И вот я убедился, Аня, что я не только люблю тебя, но и влюблен в тебя, что ты единая моя госпожа, и это после 12 лет! Да и в самом земном смысле говоря, это тоже так, несмотря на то, что уж, конечно, ты из-

менилась и постарела с тех пор, когда я тебя узнал еще девятнадцати лет. Но теперь, веришь ли, ты мне нравишься и в этом смысле несравненно более, чем тогда. Это бы невероятно, но это так. Правда, тебе еще только 32 года, и это самый цвет женщины (зачеркнуто пять строк)... это уже непобедимо привлекает такого, как я. Была бы вполне откровенна — было бы совершенство. Целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: «и предметом сим прелестным — восхищен и упоен он». Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь. Аничка, голубчик, я никогда, ни при каких даже обстоятельствах в этом смысле не могу отстать от тебя, от моей восхитительной баловницы, ибо тут не одно лишь это баловство, и та готовность, та прелесть и та интимность откровенности, с которою от тебя это баловство получаю. До свидания, договорился до чертиков, обнимаю и целую тебя взасос».

Иногда эта его эротическая скороговорка напоминает речи старика Карамазова, и его безудержное сладострастие. Некоторые строки исключительно разоблачающие: «В мыслях целую тебя поминутно, целую и то, чем «восхищен и упоен я». «Ах, как целую, как целую! Анька, не говори, что это грубо, да ведь что же мне делать, таков я, меня нельзя судить. Ты сама (одно слово зачеркнуто), свет ты мой, и вся надежда моя, что ты поймешь это до последней утонченности... До свиданья, ангел мой (ах, кабы поскорей свидание!). Целую пальчики ног твоих, потом твои губки, потом опять (одно слово зачеркнуто)».

Повторения, приписки, восклицания и намеки с ужимками нередко придают болезненный, почти патологический тон этим излияниям. Их поток не прекращается даже в самые знаменательные дни его жизни, в 1880 году, когда в Москве, на Пушкинских торже-

ствах, он произносит речь, вызвавшую бурные овации и сделавшуюся чуть ли не программой для целого поколения поздних славянофилов и почвенников. Именно в Москве выразил он свои заветные надежды о миссии России:

«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским... значит только стать братом всех людей, всечеловеком... Это значит: внести примирение в европейские противоречия, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всеобъединяющей... и в конце концов, может быть, изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому закону».

Но среди волнения и восторгов, вызванных этой речью, после чествований и банкетов, где он, признанный великий писатель и выразитель национальной идеи, был предметом всеобщего внимания и поклонения, он думал о своей Ане и писал ей: «А я всё вижу прескверные сны, кошмары каждую ночь, о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей Богу. Страшно мучаюсь».

К старости он до того привык к Анне Григорьевне и семье, что совершенно не мог без них обходиться. В домашнем кругу несколько утихала вулканическая работа его духа, уменьшалось его внутреннее беспокойство — но едва он оставался один, как волнения и страхи подымались с новой силой. Он уезжает в Эмс, на лечение, позади у него несколько месяцев мирного существования в Старой Руссе, никаких неприятностей не предвидится, но разлука с семьей подавляет его, он приезжает в Эмс нервный, усталый, «изломанный», по его выражению, садится в кресло, закрывает глаза на минуту, и засыпает на полтора часа — в совершенном изнеможении.

«Обабился я дома за эти восемь лет ужасно, Аня, — пишет он в 1875 г., — не могу с вами расстаться даже на малый срок, вот до чего дошло».

Заграницу ему приходилось ездить каждое лето, потому что астматическое его состояние ухудшилось, а врачи прописывали ему целебные воды Эмса. Во время этих поездок и пребывания на курорте он страдал от скуки, боялся, что вернется припадками падучей, невероятно преувеличивал денежные трудности и видел самые ничтожные мелочи быта в каком-то горячем, фантастическом свете. Чувствительность его оставалась такой же повышенной, как и в молодости, и, по сравнению с окружающими, он всё переживал с удесятиренной интенсивностью: читает книгу Иова и готов рыдать от восхищения, встречает на улице Эмса больного глазами ребенка, которого отец-сапожник из экономии не ведет к доктору, и это расстраивает его на целый день, Анна Григорьевна пишет, что виделась с В., питавшем к ней некогда нежные чувства, и он уверен, что она ему изменила, и безумствует в отчаянии, ужасе, ревности и любви.

Годы старости мало изменили его характер и темперамент: разве только, что он чаще молился — в тишине и уединении, и все охотнее возвращался к своему детству. В конце его жизни воспоминания о давно прошедших временах вдохновляют многие образы его произведений.

Мужик Марей, носитель христианской любви и правды, о котором он рассказал в «Дневнике писателя» (февраль 1876, гл. 1) несомненно — портрет крепостного Марка, поразившего воображение десятилетнего мальчика в Даровом в 1831 г. Эпизод с Лизаветой Смердящей в «Братьях Карамазовых» воспроизводит историю дурочки Аграфены в том же Даровом.

Но, как всегда, он усердно черпал и из недавнего

опыта жизни. В «Братьях Карамазовых», написанных между 1878 и 1880 годами, есть большое количество автобиографических деталей, относящихся к последнему периоду жизни Достоевского, включая рассказ бабы о смерти ребенка, навеянный горем Анны Григорьевны после потери сына Алексея, или описание старца Зосимы, напоминающего отца Амвросия: Достоевский видел его в Оптиной Пустыни, куда ездил в июне 1878 года вместе с молодым философом Владимиром Соловьевым, послужившим, по мнению некоторых критиков, прототипом для Алеши Карамазова.

В 1879 году и начале 1880 года здоровье Достоевского сильно пошатнулось. Речь на открытии памятника Пушкину была и его лебединой песней, и его литературным и общественным завещанием. В начале января 1881, когда он готовил к печати новый выпуск «Дневника писателя» с этой знаменитой речью и ответом ее критикам и комментаторам, он был уже безнадежно болен. Об этом знала только жена и друзья. «Он был необыкновенно худ и истощен, — пишет Страхов, видевший его в эти дни, — легко утомлялся и страдал от своей эмфиземы. Он жил, очевидно, одними нервами, и всё остальное его тело дошло до такой степени хрупкости, при которой его мог разрушить первый, даже небольшой толчок».

А. С. Суворин рассказывает о трагическом конфликте, ускорившем конец Достоевского. В Летнем Саду писатель случайно подслушал разговор двух революционеров, их террористические замыслы были ясны (партия «Народной Воли» в это время готовила покушение на Александра II), Достоевский понял, о чем шла речь, и слушал, как замороженный, но не двинулся с места, не закричал, не позвал полицейского и затем поехал не в Жандармское Управление, а к Суворину. Мог ли он, бывший петрашевец и каторжник,

стать доносчиком? Как гражданин, он обязан был действовать «патриотически», а, как человек, занятый высшими моральными проблемами, не мог совершить недостойного поступка. Но самый факт, что он неспособен был на действие, что он почувствовал какую-то близость, чуть ли не родство к тем, кто шел и против царя и против его политических воззрений, ужаснул его. И разве можно было считать предательством естественную борьбу с врагами? Хотя опять-таки, были ли они его врагами, и не сохранилось ли в нем, с давних пор, никогда не исчезающее влечение к бунту? Сомнения, раскаяние и удивление перед собственной сложностью мучили его, он и казнил себя, обвиняя себя, и выискивал доводы для самооправдания. Внутренние противоречия так раздирали его, что он не находил себе места.

В конце января у него от волнения произошел разрыв легочной артерии, а через два дня начались кровотечения. Они усиливались, врачам не удалось их остановить, он несколько раз впадал в беспамятство. 28 января 1881 года он попросил раскрыть наугад Евангелие, привезенное им с каторги, и прочесть верхние строки открывшейся страницы: он всегда так делал в трудные минуты. Анна Григорьевна повиновалась и прочла вслух от Матфея гл. 3, ст. 2: «Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

«Ты слышишь, — сказал Достоевский, — не удерживай, это значит, что я умру».

Затем он подозвал ее к себе, взял за руку и шептал: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно». К вечеру его не стало.

Барон Врангель в это время не жил в Петербурге и о кончине друга узнал из газет. Он вспомнил мороз-

ное утро на Семеновском плацу, когда впервые увидел Достоевского, беседы в Семипалатинске, отъезд Марьи Дмитриевны с Козаковской дачи, перечел захлебывающиеся письма об Аполлинарии и нежные об Анне Григорьевне, вообразил себе все неукротимые страсти, на огне которых сгорал этот необыкновенный и страшный, неистовый и загадочный человек, и, подумав, что он сейчас лежит недвижим в могиле, что кончились навсегда его метания, муки и любви, заплакал горькими слезами.

Анна Григорьевна сохранила загробную верность мужу. В год его смерти ей исполнилось лишь 35 лет, но она сочла свою женскую жизнь конченной и посвятила себя служению его имени. Она издала полное собрание его сочинений, составила в 1906 г. библиографию о нем в пять тысяч номеров, организовала отдел рукописей, реликвий и портретов при Московском Историческом Музее, основала школу Достоевского в Старой Руссе, собрала его письма и заметки, заставила друзей написать его биографию, сама написала воспоминания. Всё свободное время она отдавала организации его литературного наследия, и заслуги ее в этом деле велики и бесспорны. Но бесспорно и другое: она стремилась передать потомству лишь иконописный лик великого писателя и оставляла в тени всё, что, по ее мнению, могло бы его опорочить. Поэтому она замазывала чернилами рискованные фразы в его письмах, обходила молчанием щекотливые вопросы и старалась представить его смиренным и добродетельным. Но здесь было не только желание охранить его посмертную репутацию и скрыть его пороки, извращения и бурные отклонения от нормы: для нее он оставался тем милым и хорошим, простым и страстным, нежным и заботливым мужем, каким он так часто бывал с ней, и ее всепрощающая ничем не поколебленная любовь преображала и смягчала самые тяжелые ее воспоминания. Только в

нее одну влюбленным, верным и беззаветно ей преданным жил он в ее памяти, и таким мелькал его образ в ее меркнувшем сознании в ее последний час. Она умерла в Крыму, одинокая, вдали от семьи и друзей, в июне 1918 года — и с ней сошла в могилу последняя из женщин, которых любил Достоевский.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

М. Л. Слоним родился в Новгород-Северске, окончил классическую гимназию в Одессе, получил высшее образование в С. Петербургском университете и в Институте Высших Наук во Флоренции, по историко-филологическому факультету. Покинул Россию в 1919 году, и затем жил во Флоренции, Праге и Париже. В 1941 году переехал в Соединенные Штаты, где занимается писательством и преподает русскую и европейскую литературы в американских колледжах.

М. Слоним выпустил несколько книг на русском языке: «Русские предтечи большевизма», «По золотой тропе», «Портреты советских писателей», переводы Стендаля, Дюамеля, Казановы и других, а также ряд произведений на английском, французском, итальянском и других иностранных языках: «Большевизм с точки зрения русского», «От Петра Великого до Ленина» — история русской общественной мысли, «Советская литература» (в сотрудничестве с Д. Риви), «Воспоминания авантюристки 30-х годов» и др. Последний труд М. Слонима — История русской литературы на английском языке в двух томах (свыше 800 страниц). Первый том — от древних времен до Толстого вышел в 1950 году, а второй — от Чехова до наших дней — в 1953 году в издательстве Оксфордского университета.

ПРИМЕЧАНИЯ

К стр. 15:

Письмо Белинского по поводу «Избранных мест из переписки с друзьями (1847)» было полно гневных нападок на Гоголя за его реакционность, приверженность к церкви и крепостному праву. Оно не могло быть напечатано по цензурным условиям и распространялось нелегально, в рукописи. Сам автор письма умер в 1848 году, до того, как его могли привлечь к ответственности, но за распространение и даже чтение его письма строго преследовали.

К стр. 18:

Об условиях жизни Достоевского на каторге см. его письма брату от 23 февраля 1854 г., где он, между прочим, пишет: «Жить нам было очень худо. Все четыре года я прожил безвыходно в остроге и выходил только на работу. На работе я выбивался из сил в ненастье, в мокроту, в слякоть или зимой в нестерпимую стужу. Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Летом духота нестерпимая, зимой холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользнуть и падать. Спали на голых нарах, позволялась одна подушка. Блох, вшей и тараканов четвериками. Есть давали хлеб и щи, в пост капуста с водой. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен. От расстройства нервов у меня случилась падучая. Еще есть у меня ревматизм в ногах».

К стр. 19:

Современник рассказывает: «Достоевский стоял в строю бледный, лицо у него нервно подергивалось. Трясущимися руками нанес он очередной удар провинившемуся. А ночью припадки падучей». Брату Андрею Михайловичу он писал: «Я вышел из каторги решительно больной. А между тем надо было (в Семипалатинске) заняться фронтом, ученьем, смотрами. Всё лето я был так занят, что едва находил время спать».

К стр. 21:

Елизавета Михайловна Неворотова родилась в 1837 или

1839 г., умерла в 1918. Письма ее погибли во время гражданской войны в Сибири, после ее смерти.

К стр. 23:

В. Арсеньев в «Новике» (Афины, 1934) указывает, что Достоевские происходили от Аслан Мурзы Челебея, выехавшего в 1389 году из Золотой Орды: он был родоначальником Арсеньевых, Сомовых, Юсуповых, Ртищевых и многих других русских семей. Достоевский произносил свою фамилию с ударением на втором «о», этим подчеркивая, что вел свой род от Достоевских из Достоева, близких родственников Артищевых.

К стр. 29:

Бывшее имение Достоевских Даровое было в тридцатых годах нашего столетия превращено в колхоз имени Достоевского. Неизвестно, сохранилось ли это название после войны. Некоторые крестьяне старожилы, со слов отцов и родных, сообщали советским исследователям ряд любопытных деталей о жизни в Даровом в те времена, когда им владел штаб-лекарь Достоевский.

К стр. 30:

Сведения об эпилепсии Достоевского весьма противоречивы. Хотя о ней написан ряд работ (в том числе и медицинские тезы на иностранных языках, по преимуществу по-французски), мы до сих пор не можем сказать с точностью, когда эта болезнь впервые появилась у Федора Михайловича. Его друг и биограф Орест Миллер относил ее появление к раннему детству, дочь Любовь — к моменту убийства отца, а сам Достоевский упоминает о ней в связи со своим заключением в крепости, с каторгой и даже с пребыванием в Семипалатинске (свидетельство Софьи Ковалевской). Во всяком случае, следует отбросить, как ничем не подтвержденную, легенду о том, будто болезнь явилась следствием телесного наказания, которому Достоевский якобы подвергся на каторге.

К стр. 31:

Свои взгляды на Достоевского Фрейд изложил в очерке «Достоевский и отцеубийство», помещенном в качестве предисловия к немецкому переводу планов и заметок к «Братьям Карамазовым» (Мюнхен, 1928, Пипер Ферлаг). Очерк этот впоследствии перепечатывался в собрании статей Фрейда на разных языках. Психоаналитический подход к писателю был ранее испробован доктором Иоланом Нейфельдом, о котором Фрейд в своем очерке упоминает с похвалой. Книга Нейфельда (переведенная на русский язык) полна, однако, таким

количеством грубых ошибок, что ценность ее более чем сомнительна, и пользоваться ею, как источником, невозможно. Автор явно не знаком с датами и фактами жизни писателя, допускает множество искажений и строит свои выводы на недоброкачественном с биографической точки зрения материале.

К стр. 32:

Пессимистические настроения молодого Достоевского часто принимают характер влечения к самоубийству: «Видеть одну жестокую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно, чтобы разбить ее и слиться с вечностью, — знать и быть как последнее из созданий! Ужасно! Как малодушен человек! Гамлет, Гамлет!» (письмо 1839 г.).

К стр. 33:

Достоевский любил повторять слова своего друга Шидловского: «Человек — средство для проявления великого в человечестве, а тело глиняный кувшин — рано или поздно разобьется». Шидловский, между прочим, повлиял на отношения Достоевского к женщинам и любви.

К стр. 42:

Тургенев написал едкую эпиграмму на Достоевского, сравнивая молодого писателя с новым прыщом на лице литературы.

К стр. 54:

Именно на каторге Достоевский пришел к заключению, что у русского человека под слоем грубости и преступности бьется живое и страдающее сердце. Отсюда пошла его философия «богоносности» русской стихии.

К стр. 87:

«Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного». (Письмо от 22 февраля 1854 г.).

К стр. 107:

В 1865 Достоевский говорил Врангелю о своем несчастном браке: «Будем всегда благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая женщина. Не следует требовать от нее вечно жить и только думать о вас, это недостойный эгоизм, который надо уметь побороть».

К стр. 121:

В 1879 году Достоевский говорил Опочинину: «В человеке много доброго, но и зла и всякой мерзости тайной столько, что вскройся она, так во всем мире дышать было бы трудно».

К стр. 128:

Кажущаяся асимметрия глаз Достоевского породила множество недоразумений. Психологи и врачи упоминали о ней, как о доказательстве душевных уклонов и даже извращений писателя. На самом деле, Достоевский повредил правый глаз во время припадка эпилепсии, наткнувшись на какой-то твердый предмет. Окулисты упорно давали ему атропин, из-за которого у него и был расширен зрачок. Все хитроумные теории о «разноглазии», как проявлении двойственности Достоевского, не имеют под собою никаких оснований.

К стр. 131:

Го (Gaux) доктор из Монпелье, лечил А. Суслову и даже сделал ей небольшую операцию в 1864 г. Он, повидимому, был гинекологом.

К стр. 136:

Все цитаты, начиная со стр. 136, взяты из «Дневника» Сусловой, опубликованного А. С. Долининым.

К стр. 156:

Достоевский часто шутил «во французском стиле», и Сулова это в нем очень не любила.

К стр. 159:

Герцен познакомился с Достоевским в Петербурге в 1846 г. и писал о нем 5 октября того же года жене: «Видел сегодня Достоевского, не могу сказать, чтоб впечатление было особенно приятное». Вторая встреча произошла шестнадцать лет спустя в Лондоне. Герцен писал Огареву 17 июля 1862 года: «Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ».

К стр. 169:

«Чужая и свой» не было нигде напечатано и сохранилось только в рукописи.

К стр. 171:

Михаил Михайлович Достоевский был на год старше Федора Михайловича. Он долго болел и умер 44 лет от роду.

К стр. 174:

Надежда Прокофьевна Сулова (1843-1918) окончила Цюрихский университет со степенью доктора медицины в 1869 и в том же году вышла замуж в Швейцарии за зоолога Эрисмана, впоследствии профессора Московского университета. О влиянии Суловой на стремление русских женщин получить меди-

цинское образование пишет В. Фигнер в своих воспоминаниях «Запечатленный труд».

К стр. 190:

Розанов называл Аполлинарию «русской легитимисткой». В политическом отношении она проделала большую эволюцию от Прудона, которого она изучала в 1870 г., до монархических организаций, которым помогала в старости.

К стр. 197:

«Исповедь Ставрогина» была впервые напечатана в России в 1922 и с тех пор включалась в качестве приложения во все издания «Бесов».

К стр. 200:

В «Униженных и оскорбленных» (1861) имеется описание попытки растления маленькой Нелли. В 1869-1874 гг. Достоевский хотел писать «роман о детях, единственно о детях и герое-ребенке». В планах «Жития великого грешника» тоже фигурирует много детей.

К стр. 218:

Эпизод с Корвин-Круковской известен нам, главным образом, по воспоминаниям ее сестры, С. В. Ковалевской (наиболее полное издание под ред. С. Штрайха вышло в 1945 в из-ве Академии Наук СССР). При внимательном чтении этих воспоминаний и сопоставлении дат ряда сохранившихся писем, возникает следующий вопрос. А. В. Корвин-Круковская приехала в Петербург в конце февраля, а уехала в начале апреля 1865 г. Сватовство Достоевского и «возвращение им слова» обычно относится к этому периоду, т. е. к весне 1865 г. Между тем, С. Ковалевская, говоря об отъезде из Петербурга, пишет: «месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж». Речь идет об Анне Григорьевне Сниткиной, которой Достоевский сделал предложение в ноябре 1866 г. Если С. Ковалевская, отличавшаяся большой точностью, не ошиблась, окончательное расставание Достоевского с Анной Васильевной произошло за шесть месяцев до ноября 1866 года, т. е. весной 1866, а не 1865 г., на год позже даты, обычно указываемой биографами. Между тем, если это предположение справедливо, «роман» Достоевского и Корвин-Круковской следует отнести к 1866 г. Тогда картина меняется: в 1865 знакомство и взаимный интерес, переписка и даже (в январе 1866 г.) письмо отца Анны Васильевны Достоевскому по во-

просу об его приезде в Палибино. Во всяком случае, весной 1866 г. Корвин-Круковские были в Петербурге, и сохранилось письмо М. И. Семевского к Достоевскому с извещением о приезде сестер Корвин-Круковских с матерью (от 27 февраля 1866 г.). Имеются также документальные данные о «тайной» переписке Анны Васильевны с Достоевским: в ноябре 1865 г. он посылает ей письмо с «верным человеком». Была ли в этом нужда, если бы роман их прекратился в апреле того же года? Быть может, дальнейшая работа в архивах выяснит точные даты, и тогда станет известно, произошел ли эпизод с Корвин-Круковской до или после разрыва с Аполлинарией.

К стр. 220:

В письме Анне Григорьевне от 2 января 1866 г. Достоевский пишет: «Елена Павловна приняла всё (т. е. известие о его ближайшей женитьбе) весьма сносно и сказала мне только: «Я очень рада, что летом не поддаюсь и не сказала вам ничего решительно, иначе я бы погибла».

К стр. 266:

Эта же картина Гольбейна фигурирует в «Идиоте».

К стр. 267:

Речь идет о поэте Николае Огареве (1813-1877), друге Герцена.

К стр. 278:

Когда Достоевский умер, за гробом его шел министр народного просвещения и обер-прокурор Святейшего Синода, и вдове писателя было предложено от имени царя две тысячи на похороны и воспитание детей на казенный счет. Анна Григорьевна отказалась и от того, и от другого.

К стр. 281:

Толстой сказал в Крыму про Анну Григорьевну: «Многие русские писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них были такие жены, как у Достоевского».

К стр. 283:

Сын Алексей родился 19 августа 1875 г., и внезапно умер в Старой Руссе 16 мая 1878 г.

К стр. 286:

О его вспыльчивости и резкостях говорит и Анна Григорьевна в «Дневнике» и «Воспоминаниях».

К стр. 297:

Достоевский умер от разрыва легочной артерии. В медицин-

ской тезе Тимотеуса Сегалова, вышедшей в Гейдельберге в 1906 г., почему-то говорится о туберкулезе, как основной причине его болезни и смерти.

К стр. 298:

Все усилия Анны Григорьевны с момента смерти Достоевского были направлены на то, чтобы создать и укрепить в сознании читателей добродетельный образ писателя, и ради этой цели она сознательно опускала всё, что могло помешать ее задаче.

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ НАСТОЯЩЕЙ КНИГИ АВТОР
ПОЛЬЗОВАЛСЯ СЛЕДУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ:

- Достоевский Ф. М.* Собрание сочинений, С. Петербург, 1894, 12 томов.
" " Собрание сочинений, Москва, 1926-1930, 13 томов.
" " Письма к жене, Москва, 1926.
" " Переписка с Тургеневым, Москва-Ленинград, 1928.
" " Письма, Москва, 1928-1934, тт. 1, 2 и 3.
" " Записные тетради, Москва-Ленинград, 1935.
Достоевская А. Г. Дневник, Москва, 1923.
" " Воспоминания, Москва, 1925.
Достоевский А. М. Воспоминания, Ленинград, 1930.
Альтман А. Прыжов и Достоевский, Каторга и ссылка, 1931, № 81-2.
Антоний Преосв. Словарь к творениям Достоевского, София, 1921.
Арсеньев К. Род Достоевских, «Новик», вып. 2. Афины, 1934.
Бем А. Л. Достоевский, Берлин, 1938.
Бердяев Н. А. Достоевский, Берлин, 1926.
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, Москва, 1883.
Боцяновский В. Сплетня о Достоевском (фотостат Нью-Йоркской Публичной Библиотеки).
Вересаев В. В. Живая жизнь, вып. 1. Москва, 1911.
Ветринский Ч. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках. Москва, 1912.

- Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевских, Ленинград, 1933.
- Врангель А. Е.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири, С. Петербург, 1912.
- Гаршин Е. М.* Испорченная жизнь, Исторический Вестник, 1884, кн. 2.
- Г—в Б.* Достоевский в Семипалатинске, Сибирские Огни, 1924, кн. 4, 1926, кн. 3.
- Герцен А. И.* Полное собрание сочинений, 22 тома, Петербург, 1922.
- Гиппиус З. Н.* Благоухание седин, Современные Записки, 1924, кн. 21.
- „ „ Живые лица, вып. 2. Прага, 1925.
- Гросман Л.* Одна из подруг Достоевского, Русский Современник, 1924, кн. 3.
- „ „ Бакунин в «Бесах», Печать и революция, 1924, кн. 4-5, 1925, кн. 2.
- „ „ Семинарий о Достоевском, Ленинград, 1923.
- „ „ Жизнь и труды Достоевского, Москва-Ленинград, 1935.
- „ „ Путь Достоевского, Ленинград, 1928.
- Григорович Д. В.* Литературные воспоминания. (Сочинения, т. 12), С. Петербург, 1896.
- Долинин А. С.* Статьи и материалы, С. Петербург, 1922-24.
- „ „ Достоевский, сборник 2. Ленинград, 1925.
- „ „ Ф. М. Достоевский, материалы и исследования. Ленинград, 1935.
- „ „ Достоевский и Страхов, Литературный Архив, 1939, № 2.
- „ „ В творческой лаборатории писателя. Ленинград, 1947.
- Из архива Ф. М. Достоевского: «Идиот», неизданные материалы под редакцией *П. Сакулина* и *И. Бельчикова*, Москва, 1931.
- Из архива Ф. М. Достоевского: «Преступление и Наказание», неизданные материалы под редакцией *И. Гливенко*, Москва, 1932.
- Книжник-Ветров.* А. Корвин-Круковская, Москва, 1931.
- Ковалевская С.* Воспоминания, Москва, 1945.
- Комарович В. Л.* Неизданная глава романа «Бесы», Былое, 1922, кн. 18.
- Кони А. Ф.* Некрасов, Достоевский по личным воспоминаниям, Петербург, 1921.

- Куликов С. Н.* К биографии Достоевского по неопубликованным материалам Центрального Военноисторического Архива. Каторга и ссылка, 1934, кн. 3.
- Лапшин И. И.* Эстетика Достоевского, Берлин, 1923.
- Литературное Наследство, Москва, 1934 (материалы).
- Миллер О. Ф.* Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского, Москва, 1883.
- „ „ Дом и кабинет Ф. М. Достоевского. Исторический Вестник, 1887, кн. 27.
- Микулич В.* Встречи с писателями, Ленинград, 1929.
- Мочульский К.* Достоевский, Париж, 1947.
- Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, Москва, 1939.
- Опочинин Е.* Беседы с Достоевском, «Звенья», № 6, 1936.
- Поливанова М.* Запись о посещении Ф. М. Достоевского. Голос Минувшего, 1923, кн. 3.
- Починковская О.* Год работы со знаменитым писателем, Исторический Вестник, 1904, кн. 2.
- О Достоевском, материалы и статьи. «Бюллетени Литературы и Жизни», 1912, том 3.
- Обзор новейших публикаций о Достоевском, «Печать и Революция», 1924, кн. 6.
- Письма Некрасова под ред. *М. Евгеньева-Максимова*, Москва, 1930.
- Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. Петербург, 1914.
- Панаева А. Я.* Воспоминания, Ленинград, 1927.
- Прохоров Г.* Письма Марфы Браун к Достоевскому, «Звенья», № 6, 1936.
- Скандин А. В.* Достоевский в Семипалатинске, «Исторический Вестник», 1903, т. 91.
- Скобцова Е.* Достоевский и современность, Париж, 1929.
- Соловьев В. С.* Сочинения, Москва, 1903.
- Страхов Н. Н.* Воспоминания о Достоевском, С. Петербург, 1883.
- Суслова А. П.* Годы близости с Достоевским, Москва, 1928.
- Творческий путь Достоевского, Сборник статей под редакцией *Н. Л. Бродского*. Ленинград. 1924.

- Трутовский К.* Воспоминания о Достоевском. «Русское Обозрение». 1893 кн. 1.
- Феоктистов Н.* Пропавшие письма Достоевского, «Сибирские Огни», 1928, кн. 2.
- Чиж В.* Достоевский как психопатолог, Москва, 1885.
- Штакеншнейдер Е.* Из воспоминаний о Достоевском, «Голос Минувшего», 1916, кн. 2.
- Штейнберг А. З.* Достоевский в Лондоне, Париж, 1932.
- Штрайх С.* Сестры Корвин-Круковские, Москва, 1934.
- „ „ Достоевский и Корвин-Круковская, «Красная Новь», 1931, кн. 7.
- Якушкин Е. А.* Письмо к сыну, «Огонек», 1946, № 46/7.
- Abraham Gerald* Dostoevsky. London, 1936.
- Bercovici L.* Dostoevsky — Etude de psychopathologie. Paris, 1933.
- Carr E. H.* Dostoevsky. Boston, 1931.
- Der Unbekannte Dostojewskij, herausgegeben von *René Faselop Mueller* und *Friedrich Eckstein*. Muenchen, 1926.
- Dostojewskij geschildert von seiner Tochter Aimée. Muenchen, 1920.
- Freud Sigmund* Dostojewski und die Vaterterdung (in Die Urgestalt der Brueder Karamazoff). Muenchen, 1928.
- Gide A.* Dostoevski. Paris, 1925.
- Loygues P. G.* La maladie de Dostoievski. Lyon, 1913.
- Meier Graefe J.* Dostojewski, the man and his work. New York, 1928.
- Neufeld Jolan.* Dostojewski's Skizze zu einer Psychoanalyse. Wien, Zuerich, Leipzig, 1925.
- Noetzel Karl.* Das Leben Dostojewskis. Leipzig, 1925.
- Yarmolinsky A.* Dostoevsky: A Life. New York, 1934
- Zweig Stefan.* Three Masters. New York, 1930.

Articles in various French, German, Italian, English and American magazines as well as introductions to Dostoevsky's translations are not listed in this bibliography.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Предисловие автора	7
<i>Часть первая: Первая любовь</i>	11
<i>Часть вторая: Подруга вечная</i>	109
<i>Часть третья: Счастливый брак</i>	195
Послесловие	301
Примечания	303
Библиография	313

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y



